

Сергей Иосифович Фудель

Наследство Достоевского

Оглавление

Глава I. Владычествующая идея.....	2
Глава II. Детство и юность	5
Глава III. 40-е годы и начало «Двойника»	12
Глава IV. Тюрьма и переходный период	18
Глава V. Явление Христа в современности.....	26
Глава VI. Поиски праведников	34
Глава VII. Праведники Церкви	43
Глава VIII. Общее дело.....	60
Глава IX. Оптиная пустынь.....	65
Глава X. Борьба за Церковь	74
Глава XI. Особенности искусства	88
Глава XII. Обретенный покой.....	99

Глава I. Владычествующая идея

Можно ли говорить о Достоевском в эпоху водородной бомбы? Все уже сжимается круг тем, на которые у человека остается время, ибо скоро «времени больше не будет».

Все религиозно-философское знание, если оно в нас есть, мы носим не в книгах, а в сердце, так как в условиях точно фронтовой жизни современности книги носить с собой невозможно. А сердце хоть и безмерно, но очень разборчиво: только действительно нужное вмещается в нем. Как быть с Достоевским?

В вагоне американского метро, как рассказывает американский писатель Брэдбери, среди гула рекламы нейлоновых чулок вдруг отчетливо прозвучали кем-то громко сказанные слова Евангелия¹. Парижская газета в феврале 1962 года сообщала о стихийном образовании во Франции новой партии, вся программа которой состоит из двух слов: «телевизор» и «холодильник». И вот в этом вагоне современной жизни многие слова Достоевского звучат с евангельской силой. Что это значит и как это может быть? Как объяснить тот факт, что, по анкете французского журнала «Arts», опубликованной в марте 1957 года, на вопрос о любимом писателе из 500 парижских студентов 429 назвали Достоевского? Почему не Бальзака, Хемингуэя или Горького? Почему этот самый Хемингуэй поместил «Братьев Карамазовых» в список своих любимых книг²? И почему Эйнштейн сказал, что Достоевский дает ему больше, чем любой мыслитель³? Почему все эти люди нуждаются в Достоевском и тянутся к нему как к «собирателю русского сердца⁴», по выражению француза Воюэ?

Наше ухо научилось различать всякую фальшь и всякое бессилие религиозно-философской мысли. Мы знаем, что живем в эпоху этого бессилия, что все больше оскудевают святые в мире, что все дальше мы уходим от земли Первоначальной Церкви, не уклонявшейся от «простоты во Христе».

В этой ее благодатной простоте была сила и власть, и вот – удивительное дело! – мы ощутили ее, эту простоту, среди сложности, смятения чувств и темноты Достоевского. Впрочем, почему удивительно? «Дух дышит, где хочет», а Первоначальная Церковь во все века истории сохранялась и будет сохраняться в истинном монашестве и в том «монастыре в миру», идею которого нам передает Достоевский не только в «Братьях Карамазовых». Удивительно другое: многие этого или совсем не знают, или не умеют отделить основной христианский путь Достоевского от тех темных и трудных перепаутов, которые ему предшествовали, а в каком-то смысле и сопровождали его до конца. Открытая исповедь христианства в искусстве – то, что некоторые с презрением называли «достоевщиной», – началась у него с 1865 года и после этого непрерывно продолжалась до смерти в 1881 году. Это эпоха «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых», «Дневника писателя» и переписки со всей Россией. Эта исповедь нам нужна: среди литературной пустыни – это колодец студеной воды, полученной нами как драгоценное наследство. Много в нем близко именно нам, нашей эпохе.

Над миром стоит зарево ненависти и разъединения. Невидимые скрепы, прежде соединявшие людей, все больше ослабевают. В холоде абстракции расщепляется искусство, все более делаясь «дорогой в никуда». Холод смерти проникает и во «внешний двор храма» Церкви. Койечно, мы знаем, что кроме этого «внешнего двора» есть еще, как сказано об этом в Откровении, «храм Божий и жертвенник», но и мы чувствуем, из какого зияющего пролома в стене так потянуло холодом в Церкви. Вера уже давно в веках перестает быть трепетным чувством сердца, делом подвига жизни, делом

¹ См. послесловие И. Кашкина к кн.: Ф о л к н е р У. Поджигатель. Рассказы. М., 1958. С. 165.

² См.: Хемингуэй Э. Стрельба влёт // Охотничьи просторы. М., 1960. № 15. Характерно и замечание Ф. Мориака: «Все мы, или почти все, носим глубокий отпечаток Достоевского» (цит. по: Мотылева Т. П. Достоевский и мировая литература // Творчество Ф.М. Достоевского. М., 1959. С. 41).

³ См.: Кузнецов Б. Эйнштейн. М., 1962. С. 87.

⁴ См.: «Недаром тонкий ценитель его (Достоевского. – С.Ф.) дарования, Воюэ, называет его «собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни» (цит. по: Кони А. Ф. На жизненном пути: В 5 т. Л., 1929. Т. 5. С. 25.

личной Голгофы и Воскресения. Все чаще и торжественней международные христианские съезды и все меньше Христа в истории.

И вот, обращаясь к Достоевскому, мы видим в его темном лабиринте такую ослепительную нить Ариадны, что лабиринт делается широким и безопасным путем. В плане не осуществленного им романа «Житие великого грешника» есть одна заметка («для себя»): «Владычествующая идея жития чтоб видна была – т. е. хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива» (9: 133). Друг юности Достоевского – Шидловский в одном стихотворении писал о живущей в нем «первоверховой идее Божества⁵». У Достоевского была одна «первоверховная», или «владычествующая», идея – явление в мире Иисуса Христа. В нем была ясная личная любовь к Христу, живому и осязаемому. «Господь мой и Бог мой!» – это восклицание навсегда обрадованного сердца и ума можно проследить начиная с его каторжного периода и вплоть до смерти. В 1880 году он говорил студенту Зеленецкому: «Я хотел написать книгу об Иисусе Христе, где намеревался показать, что Он есть чудо истории, и появление такого идеала, как Он, в человечестве, в этом грязном и гнусном человечестве, есть еще большее чудо⁶».

Все романы Достоевского после 1865 года – это тоже, собственно, книги об Иисусе Христе. Прежде всего, в этих книгах современный нам читатель найдет впервые слова о Христе любви и веры.

Достоевский называл Диккенса великим христианином, но сам он совершил несравненно больший подвиг исповедания Христа. Вся его власть над людьми именно в этом исповедывании, как бы случайно облекшемся в драгоценную форму художественной прозы. Может быть, исповедывания христианства (а тем самым и его проповеди) в таком всемирном диапазоне, в такой открытости и распятии мы больше уже никогда не услышим в искусстве. «Верую, Господи, и исповедую». Именно в этом все значение его и вся его сила, а не в пресловутой психологичности как самоцели. «Меня зовут психологом, – пишет Достоевский в записной книжке последних лет жизни, – неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой... При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного)» (27: 65).

Неверующим страшно хотелось бы как-нибудь затушевать веру Достоевского. Уж очень им обидно, что писатель мирового уровня мог верить и любить Христа. «Достоевский принуждал себя верить», – убеждают они нас. Но ведь это выходит совсем по-евангельски. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» – так сказано в Евангелии о принуждении себя к узкому пути веры. «Горнило его сомнений было ярче его осанны», – уверяют они же, опять, очевидно, не зная того факта, что у всякого истинно верующего его сомнения иногда бывают ярче его осанны, и что только в огне сомнений очищается золото веры. Исаак Сирий говорил: «Не было бы искушений, – не было бы и святых». «Верую, Господи! помоги моему неверию» – вот как нас учит Евангелие осознавать свою веру. Не знают они того, что Церковь уже тысячелетия возносит «доброе неверие Фомино», его «не поверю, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его». И апостолы сомневались: «И, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усомнились». Истинная вера, вера не рефлекс, а сердечного ощущения, всегда опаляема противоречиями и сомнениями и всегда ищет преодоления их в том, чтобы вложить «руку мою в язвы Его». Ведь нам дано не только верить в бессмертие, но и ощущать его. Этой сердечной вере и учит нас Достоевский, со всеми противоречиями и сомнениями своего грешного ума. Впрочем, лучшим ответом на этот туман о его сомнениях будет факт укрепления в вере и приведение

⁵ См.: Решетов Н. Люди и дела давно минувших дней // Русский архив. 1886. Кн. 9. С. 226–228.

⁶ Зеленецкий А. А. Три встречи с Достоевским // Исторический вестник. 1901. № 3. С. 1027.

к вере множества людей именно через Достоевского. Уже одно имя его и в наше время все продолжает говорить людям о пути к Христу, одно имя его стало во всем мире каким-то благовестом веры.

В июне 1959 года в подмосковной больнице умирал один старый священник (о. Петр Шипков). За несколько дней до смерти, проснувшись утром, он перекрестился и сказал: «Господи, как хорошо жить на свете!» Затем, неожиданно, обратился к присутствующим с такими словами: «Вам всем легко – вы можете добрые дела делать, а священник чем оправдается?» В ответ на реплику, что священник может еще больше доброго сделать, он ответил: «Есть, которые делают, а есть и такие, что и подумать страшно...» Потом прибавил: «А у Достоевского, помните, Мармеладов говорит о Страшном суде: «И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие... И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... Тогда всё поймём! и все поймут!»

Вот как монолог в трактире, написанный сто лет назад петербургским литератором, отозвался в сердце умирающего священника. Истинно можно сказать, что всякое слово любви о Христе «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» и не имеют над ним власти ни время, ни неприязнь.

У Достоевского было время угасания религиозности – его первый литературный период 1845–1849 годов, но, кажется, даже и в эти темные годы в нем как-то сохранялся нерукотворный образ Христов.

Вера Достоевского была верой Голгофы, а не гуманизма. Верой трагической, то есть стремящейся повторить в себе всю евангельскую быль: христианство он воспринимал не как доктрину для добродетельного поведения, а как раскрытие в человеке и человечестве жизни Богочеловека Христа, как наше соучастие в этой жизни, – в ее смерти и в ее воскресении. Отсюда единство его восприятия любви и страдания, столь пугающее многих. Вспоминаются слова одного монаха: «Любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое в мире сем, и вместе с тем любовь эта есть страдание, больше всех страданий. Любить любовью Христа – это значит пить чашу Его, ту чашу, которую Человек-Христос просил Отца «мимо нести⁷».

Вера Достоевского была верой покаяния и любви среди «невидимой брани» сомнений и соблазнов, при явном еще несовершенстве всей его жизни и мысли. В черновых материалах «Жития великого грешника» есть такая фраза (характеристика персонажа): «Он уставляется наконец на Христе, но вся жизнь – буря и беспорядок» (9: 128). Это и есть Достоевский, и мы верим ему не как иконописному и неживому прорицателю, а, пожалуй, как разбойнику, тоже вознесенному на крест, как тот в Иерусалиме, и просвещенному там божественным благоразумием. Но, как сказал один француз: «Никто так не понимает христианства, как грешник, никто, разве что святой⁸», а мы бы добавили: и святой только потому, что и он есть кающийся грешник. Именно от слов такого Достоевского, от его русской веры в Христа – Царя Небесного, идущего в рабском виде по земле, как сказал Тютчев (об этом с таким убеждением говорит Иван в «Братьях Карамазовых»), идет к нам ясный и яркий свет, точно вспыхнувший указатель в темноте современности. А что касается того, не поздно ли в наше время убеждать в чем-то людей, не слишком ли уже далеко зашел процесс де-христианизации человечества и формирования нового язычества, то я думаю, что об этом нам не дано знать. Мы должны делать свое дело исповедывания христианства, а Господь знает пути Свои и судьбу мира.

Незадолго до смерти Достоевский писал: «Да, конечно... настоящих христиан еще ужасно мало... Но почему вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с

⁷ Ср.: Мк. 14, 36; Жизнь и учение старца Силуана. Глава II. (Машинопись).

⁸ Слова французского поэта и философа Шарля Пегги (1873–1914), взятые в качестве эпитафии к роману Грэма Грина «Суть дела» (1948).

ним и великая надежда его?.. До сих пор, по-видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль» (26: 164).

Глава II. Детство и юность

Кажется, незадолго перед смертью Экзюпери писал: «Человек в мою эпоху умирает от жажды. Есть только одна проблема, одна-единственная во всем мире: вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы <...> Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя! Перед нами стоит теперь только одна проблема: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная удовлетворить человека <...> Нам бы так нужен был Бог!⁹»

Этот крик нашего современника ближе всех книг о Достоевском подводит нас к нему. Достоевский «снова открывает» нам жизнь духа и Бога. Вот почему столько людей к нему тянутся и вот почему о нем все еще надо писать. Чтобы лучше понять его и не запутаться в том, что кажется его сложностью и темнотой, полезно знать, что он был воспитан в тепле верующей русской семьи и рос в окружении непостижимой теперь для нас московской тишины 20–30-х годов прошлого века. Надо знать и то, что автор «Бедных людей» родился в доме больницы для бедных.

«Сретенского Сорока, церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных, тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30 дня, родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского, – сын Федор¹⁰». Дед писателя был священником. В московском Музее Достоевского хранится книга, изданная в Почаевской лавре в 1790–1791 годах под названием «Богогласник». Считается, что «Песнь покаянная», помещенная в этой книге, написана одним из предков писателя¹¹. Первая строфа этой песни могла бы быть эпиграфом ко всему позднему творчеству писателя:

*Да придет ныне радость новая,
Сердцу благие мысли подая,
Дабы оставил греховное дело
И прилепился к Богу цело.*

Христианские впечатления детства нашли ясное отражение в творчестве Достоевского. В 4-й главе первой книги «Братьев Карамазовых» он рассказывает о детстве Алеши: «Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку...» (14: 18). К этим словам жена писателя – Анна Григорьевна Достоевская – сделала следующее примечание: «У Федора Михайловича сохранилось от двухлетнего возраста воспоминание о том, как мать причащала его в их деревенской церкви и голубок пролетел через церковь из одного окна в другое¹²». Об этом голубе дважды говорит Аркадий в «Подростке». Во 2-й главе шестой книги «Братьев Карамазовых» старец Зосима вспоминает тот день своего детства, когда он впервые почувствовал Священное Писание: «...повела матушка меня... во храм Господень, в Страстную неделю... Вышел на средину храма отрок с большою книгой... отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял... Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый... И предал Бог Своего праведника, столь Им любимого, диаволу... и разодрал Иов одежды свои, и бросился на землю, и возопил: «Наг вышел из чрева матери, наг и

⁹ Сент-Экзюпери А., де. Сочинения. М., 1964. С. 678–680.

¹⁰ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 5.

¹¹ Л.Ф. Достоевская пишет в своих воспоминаниях: «Отец мой рассказывал моей матери о епископе Стефане, который, по его мнению, был родоначальником православной ветви нашей семьи» (Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении его дочери. М., 1922. С. 10).

¹² Достоевская А. Г. Примечания к сочинениям Ф.М. Достоевского // Творчество Достоевского: Сб. статей и материалов / Под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 28.

возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял...» Отцы и учителя, пощадите теперешние слезы мои – ибо всё младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда... и чувствую, как тогда, удивление, и смятение, и радость» (14: 264).

Анна Григорьевна делает к этому месту романа такое примечание: «Это личные воспоминания Федора Михайловича из своего детства: несколько раз от него слышала¹³». Данное примечание вполне подтверждается письмом Достоевского к жене от 10 июня 1875 года из Эмса: «Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая поразила меня в жизни. я был еще тогда почти младенцем!» (29, кн. 2:43). Действительно, замечательно, что из всех церковных книг Достоевского прежде всего поразила книга Иова, безмерные страдания которого были прообразом страданий Христа. «Не люблю его мысль, – писал о Достоевском Горький, – мне враждебно его извращенное чувство, но – весь он, кругом взятый, конечно, величайший из великомучеников русских¹⁴». Люди, не понимающие христианства, никогда не примут и идею страдания, но в Горьком было достаточно сердца, чтобы понять сердцевину Достоевского. Об этой идее говорят и люди, совершенно далекие Горькому. «К священной ограде Гефсиманского сада, из которого есть только один путь – на Голгофу, приближается всякий, в меру своего страдания за других, бескорыстной, самоотверженной скорби и боли за человека. И ближе многих других подошел к ней Достоевский... Голгофа, которая была в сердце Достоевского, тот крест, который был в нем воздвигнут, – вот что повелительно склоняет нас перед Достоевским¹⁵».

«Едва ли не самым ранним воспоминанием Федора Михайловича, – пишет О.Ф. Миллер, его первый биограф, лично его знавший, – было, как однажды няня привела его, лет около трех, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву: «Всё упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим...» Молитву же ту он твердил всю жизнь¹⁶».

Много живых подробностей детства передает младший брат Достоевского, Андрей Михайлович. «Как теперь рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: одним зимним утром является к матушке в гостиную няня Алена Фроловна и докладывает: «кормилица Лукерья пришла». Мы, мальчики, вбегаем из зала в гостиную и чуть не бьем в ладоши от радости. «Зови ее», – говорит матушка. И вот является лапотница Лукерья. Первым делом помолится и поздоровается с матерью, потом перецелует всех нас, потом обделит нас всех деревенскими гостинцами, в виде лепешек, испеченных на пахтанье; но вслед за тем удаляется опять в кухню, – детям некогда, они должны утром заниматься. Но вот наступают сумерки, матушка занимается в гостиной, отец занят впискою рецептов в скорбные листы... а мы, дети, ожидаем уже в темной неосвещенной зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в темноте на стульях, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжалось часа по три, по четыре; рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям; тишина такая, что слышен скрип отцовского пера¹⁷».

В тех же воспоминаниях Андрея Михайловича мы читаем: «Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности матушка. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне ко всенощной. Исполнять это было удобно, так как у нас была очень большая и хорошая церковь. При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными липовыми аллеями... Этот-то сад и был почти нашим жилищем в летнее время... Более разнообразные игры наши происходили в деревне... Поездка в деревню для нас, детей, составляла эпоху, которой мы дожидались с нетерпением¹⁸».

¹³ Там же. С. 31.

¹⁴ 26 Письмо А.М. Горького к Р.В. Иванову-Разумнику от 29 октября 1913 г. (Архив А.М. Горького). Цит. по: Бял и к Б. А. Достоевский и достоевщина в оценках Горького //Творчество Ф.М. Достоевского. М., 1959. С. 99.

¹⁵ Булгаков С. Н. Венец терновый: Памяти Ф.М. Достоевского. СПб., 1907. С. 12.

¹⁶ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 5–6.

¹⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 31.

¹⁸ Там же. С. 12–13.

«Сорок лет я там (в этой деревне. – С.Ф.) не был... – писал в «Дневнике писателя» 1877 года сам Достоевский. – Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями... Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек» (25: 172). Через три года после этой дневниковой записи Алеша Карамазов в своей «речи у камня» скажет: «Какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь» (15: 195). В «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский дал нам свой драгоценный рассказ о крепостном мужике Марее из этой деревни, перекрестившем его от волков.

Любовь родителей Достоевского к их детям, забота об их воспитании и благополучии очевидна, и это относится не только к матери писателя, но и к отцу, человеку, по своему характеру несомненно очень тяжелому. Как говорит один современный нам исследователь: «Болезненная угрюмость, подозрительность и вспыльчивость отца были для детей тем ужаснее, что они не могли не чувствовать искренней любви отца к ним¹⁹». Мать Достоевского, «женщина, прекрасная своей внутренней силой, жизнерадостностью и любвеобилием», проявляла не только «беззаветную любовь к семье», но и «глубоко любила своего угрюмого, подозрительного мужа, хотя жизнь с ним была для нее длительным, тяжелым испытанием²⁰».

В одном письме к брату Андрею Достоевский пишет: «Идея неперменного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основной идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения» (29, кн. 2: 76). Слова «несмотря на все уклонения» говорят о том, что для Достоевского в этой оценке не было фальшивой идеализации. «Несмотря на все уклонения» он повторил, как бы анонимно, через год, в «Дневнике писателя»: «Есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой мысли и великой веры в нее мог и успевал пересаживать в восприимчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное» (25: 181). «Я происходил из семейства русского и благочестивого, – пишет он в 1873 году. – С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства» (21: 134).

А что унесут дорогого и святого из своего детства в жизнь современные дети? – спрашивал он в 1877 году. «Никогда семейство русское не было более распатано, разложено... как теперь... Современное русское семейство становится всё более и более случайным семейством» (25: 173).

В «Карамазовых» есть такие слова в рассказе Зосимы о себе: «Была у меня тогда книга, Священная История, с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю» (14: 264). И эти слова Зосимы – биографическая деталь. «Первою книгою для чтения была у всех нас одна, – пишет Андрей Михайлович. – Это Священная История Ветхого и Нового Завета на русском языке... Помню, как в недавнее уже время, а именно в конце 70-х годов, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге, и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережет ее как святыню²¹».

«Как я начинаю себя помнить, – пишет Андрей Михайлович, – я застал уже братьев умеющими читать и писать... К нам ходили на дом два учителя. Первый – это дьякон, преподававший Закон Божий... К его приходу в зале всегда раскидывался ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались

¹⁹ Н е ч а е в а В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 16.

²⁰ Там же. С. 24–28.

²¹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 18.

за этим столом, вместе с преподавателем... Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, – не припомню. Он имел отличный дар слова и весь урок, продолжавшийся по старинному часу 1–2, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, – в толковании Св. Писания... О потопе, приключениях Иосифа, Рождестве Христове он говорил особенно хорошо... так что, бывало, и матушка, прекратив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца». Интересно было бы установить – не тот же ли это московский дьякон, о котором с благоговением, как о своем учителе христианства, писала молодая Наташа Яковлева своему будущему мужу – Герцену? «По всей земле русской чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи, – пишет Достоевский в 1877 году, – о, не всей, конечно, книги, – но распространен дух ее по крайней мере, – почему же так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о Житиях святых... Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и вздыхали» (25: 214–215).

«День проходил в нашем семействе по раз заведенному порядку... – вспоминает Андрей Михайлович. – Вечера проводились в гостиной... Читали попеременно вслух или отец, или мать; я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья... Впоследствии и они сами читали вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина... «Биография Ломоносова» Ксеноф. Полевого и проч. Из чисто литературных произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского – переводную прозу, повести Карамзина... из Пушкина, – преимущественно повести. Впоследствии начали читать и романы: «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских»; читались также и сказки Казака Луганского... В девятом часу вечера, аккуратно, накрывался ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом; прочитав молитвы и простившись с родителями, отходили ко сну²²».

«Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве, – писал Достоевский в одном письме. – 10-ти лет от роду я видел в Москве представление «Разбойников» Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно» (30, кн. 1:212).

«Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным» (21: 134), – вспоминает он о своем детстве в 1873 году.

«К числу летних разнообразных дел нужно отнести также ежегодные посещения Троицкой лавры, – пишет Андрей Михайлович. – У Троицы проводили дня два, посещали все церковные службы и, купив игрушек, тем же порядком, возвращались домой». Поездки в лавру были не только в раннем детстве. В мае 1837 года Достоевский, шестнадцати лет от роду, был с братом Михаилом отвезен в Петербург для поступления в Инженерное училище. О.Ф. Миллер пишет: «По сведениям, сообщенным Анне Григорьевне в Москве, тетка юношей Достоевских, А.Ф. Куманина, которую очень любил Федор Михайлович, как и ее почтенного мужа, свозила их перед этим (то есть перед поездкой в Петербург. – С.Ф.) на богомолье к Сергию, они же всю дорогу читали и декламировали ей стихи²³». Известно, что Достоевский был «у Сергия» и в 1859 году, возвращаясь с каторги. В марте 1870 года, собираясь начать так потом и не написанный роман «Житие великого грешника», Достоевский пишет Майкову: «В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства» (29, кн. 1: 118). В том же месяце и году он пишет Страхову: «Я знаю русский монастырь превосходно» (Там же: 112). Говоря о монастыре в октябре 1870 года в письме к Каткову, он уверенно добавляет: «В этом мире я кое-что знаю» (Там же: 142). У няни Достоевского, Алены Фроловны, была сестра, монахиня Коломенского

²² Там же. С. 9–10, 23.

²³ Там же. С. 27.

монастыря, часто гостившая в доме Достоевских. Достоевского с детства питало именно монастырское христианство России – душа народа, все его самое светлое и самое далекое от византийского лукавства и внешности. И современный нам молодой читатель почти только по «Карамазовым» сможет создать себе представление о русском монастыре.

«Мы лишились матери 27 февраля 1837 года, – пишет Андрей Михайлович. – Спустя несколько времени после смерти матушки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей... Отец, по возвращении своем из Петербурга, намеревался совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле нашей матери. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра». То, что эта надпись была взята из Карамзина, а не так, как обычно, из библейских текстов, очень характерно: всю жизнь для Достоевского не было никакого противоречия между сердечной религиозностью и искусством. Тут все его отличие от позднего Гоголя.

«Не знаю, вследствие каких причин, – пишет Андрей Михайлович, – известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон матушки... Помню, что братья чуть с ума не сходили, услышав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор... несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине». Мать Достоевского умерла в феврале 1837 года. Пушкин – в январе, а уже в мае этого же года Достоевский вместе со старшим братом Михаилом был отвезен в Петербург. Две эти смерти были рубежом, за которым началась его самостоятельная жизнь.

Во время переезда на лошадях в Петербург он имел встречу с тем страшным миром, в котором был обречен жить, – миром жестокости и страдания. «Анекдот этот случился со мной, – пишет он об этом сам в «Дневнике писателя», – в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году... по дороге из Москвы в Петербург... Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три... Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три... а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин... И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе... готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоянного двора приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его поллетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой треугольной шляпе... высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки... Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка... Тотчас же выскочил и фельдъегерь и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы отхлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду» (22: 27–28).

Не эта ли встреча на пути определила основную идею или, лучше сказать, главную боль всего будущего литературного творчества Достоевского, его нравственное обличительство отрекающейся от Христа цивилизации? Я уже сказал, что он неоднократно вспоминал чтение паремий, читаемых во вторник на Страстной, из книги Иова. В среду на Страстной в церкви читаются паремии из книги пророка Иезекииля, еще ближе вводящие нас в понимание души писателя. «И ты, сыне человек, послушай глаголющего к тебе... отверзи уста твоя и снеждь, яже Аз даю тебе. И видех, и се рука

простерта ко мне и в ней свиток книжный. И развй его предо мною... и вписано бяше в нем рыдание, и жалость, и горе. И рече ко мне: сыне человек, снеждь свиток сей, и иди, и рцы сыном Израилевым, и отверзох уста моя, и напита мя свитком сим».

Когда в январе 1838 года Достоевский поступил в Петербургское инженерное училище, в нем, конечно, уже жили начатки «рыдания, жалости и горя» с небесного свитка. Христианство обретало себе в его душе ту единственную землю, на которой оно может плодотворно расти, – сострадание миру.

Некоторые петербургские встречи укрепили этот рост. По приезде в Петербург Достоевский еще в 1837 году познакомился с Иваном Николаевичем Шидловским. Всеволод Соловьев в своих воспоминаниях пишет: «Когда я просил Федора Михайловича сообщить мне некоторые биографические и хронологические сведения для статьи о нем, которую я готовил к печати, он говорил мне: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает. Ради Бога, голубчик, упомяните – это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало²⁴».

Анна Григорьевна Достоевская передает о близости в 1870-е годы к ее мужу брата Всеволода Соловьева – богослова и поэта Владимира Соловьева. «Впечатление он (Владимир Соловьев. – С.Ф.) производил тогда очаровывающее, – пишет она, – и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность. Один раз мой муж высказал Вл. Соловьеву причину, почему он так к нему привязан. «Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека... Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас²⁵».

Старец Зосима говорит о схожести Алеши со своим умершим братом Маркелом, бывшим в судьбе его «как бы указанием и предназначением свыше» (14: 259). «И вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это... что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения» (Там же).

Так что можно предположить как бы две параллельные линии духовной генеалогии: Шидловский – Достоевский – Соловьев, Маркел – Зосима – Алеша. Конечно, во всяком схематизме есть какая-то условность, но все же знаменательно, что именно молодой Владимир Соловьев сопровождал Достоевского в его поездке в Оптину пустынь, в результате которой был создан последний роман писателя и его Алеша.

Наши сведения о Шидловском очень недостаточны. Он был старше Достоевского на пять лет, окончил юридический факультет Харьковского университета, служил недолго в Петербурге, в Министерстве финансов. Еще до начала 1840 года он уехал из Петербурга, поселился в имении матери, готовил работу по истории Русской Церкви. К этому же периоду 40-х годов относятся, по-видимому, его кутежи с братьями и товарищами братьев по драгунскому полку. В 50-х годах он поступил в Валуйский монастырь, но потом вышел из него, паломничал в Киев, где один из старцев благословил его, точно Зосима Алешу Карамазова, – вернуться домой, в мир. До конца жизни (он умер в 1872 году) жил у себя в имении, впрочем, не снимая монашеской одежды. Высокий, красивый, внушающий всеобщее расположение, он был, по-видимому, человек выдающегося ума и дарований, бурной природы и сильных страстей. Искренняя вера его подвергалась, очевидно, большим испытаниям и сменялась временным скептицизмом²⁶.

²⁴ Исторический вестник. 1881. № 3. С. 608.

²⁵ 42Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1925. С. 78.

²⁶ См. об этом: Ал е к с е в М. П. Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921.

«Шидловский показал мне тогда свои стихотворенья... – пишет Достоевский старшему брату Михаилу вскоре после отъезда Шидловского из Петербурга. – Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы... Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали... духовная красота его лица возвысилась с упадком физической... Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем! О, какая откровенная, чистая душа!.. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни» (28, кн. 1: 68–69). Сам Шидловский писал Михаилу Достоевскому в январе 1839 года: «Ваша поэзия своим изящным характером возвращает меня к младенчеству, к той чистой простоте... без которой нельзя вникнуть в царствие Божие²⁷».

В этом же, 1839 году и в атмосфере той же тишины и ясности Достоевский пишет брату Михаилу: «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну... Человек есть тайна. Ее надо разгадать... Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (28, кн. 1:63).

Ему в это время не было еще и 18 лет. Письмо было вызвано известием о смерти отца, убитого своими крепостными. Об этом в письме есть такие строки: «Милый брат! Я пролил много слез о кончине отца... Дай-то Бог, чтобы ты был в Москве; тогда об семействе нашем я был бы покойнее; но скажи, пожалуйста, есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер?.. Там бы ты занялся их образованием... Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского... вот следствия такого воспитания» (Там же: 62).

Как бы ни был подготовлен Достоевский к встрече с Шидловским всем своим детством – сказками кормилицы, молитвами с матерью в церкви и дома, посещением кремлевских монастырей и соборов, поездками в Троицкую лавру, жизнью в деревне недалеко от мужика Маррея, чтением Карамзина, Жуковского и Пушкина, даже тишиной большого сада Мариинской больницы, стоявшей тогда на окраине Москвы и поблизости от больших садов Екатерининского и Александровского институтов и Марьиной Рощи, – все равно нельзя не почувствовать организующее или закрепляющее на всю жизнь влияние на него этого «большого для него человека». Савельев – офицер Инженерного училища этих лет – вспоминает про юношу Достоевского: «Он для его товарищей казался мистиком или идеалистом²⁸».

Нужно ли называть влияние Шидловского романтическим? В сентябре 1837 года, то есть вскоре после своего приезда в Петербург, Достоевский пишет отцу: «С Шидловским... провели час в Казанском соборе» (28, кн. 1: 39). Что это, романтизм или церковность? И если к той «чистой простоте, без которой, – как писал Шидловский, – нельзя вникнуть в царствие Божие», стремились романтики, то романтиком нужно назвать всякого искренно верующего человека, в частности Игнатия (Брянчанинова), в те же, 30-е годы сменившего офицерский мундир на черный подрясник. Или это так называемое типичное романтическое первенство сердца над умом?

В октябре 1838 года Достоевский писал брату Михаилу: «...познать природу, душу, Бога, любовь... Это познается сердцем, а не умом... Ум – способность материальная... душа же, или дух, живет мыслию, которую нашептывает ей сердце... Ум – орудие, машина, движимая огнем душевным» (Там же: 53–54). Через 27 лет после этого Аркадий в «Подростке» говорит об «уме сердца» (13: 308), и разве не этим же сердечным мышлением мыслят Соня в «Преступлении и наказании», князь в «Идиоте», Марья Тимофеевна и Тихон в «Бесах», Макар в «Подростке», Зосима и Алеша в «Карамазовых» – все эти люди, ради правды которых и вокруг правды которых Достоевский создавал свои романы?

Сердечное мышление есть мышление христианское. «Сердце правит всеми органами, – пишет в VI веке преподобный Максим Исповедник, – и, когда благодать займет все пажити его, оно царствует

²⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 38.

²⁸ Там же. С. 37.

над всеми помыслами». «Сердце чувствует Бога, а не разум²⁹». – писал и Паскаль. «Дружба с Шидловским, – пишет один исследователь, – могла укрепить мечту Достоевского о религиозном преображении мира, истоки которой нужно искать в том же русском романтизме³⁰». Но не ближе ли истоки этой мечты о преображении искать на горе Преображения? Разве не к ней мы обращаем свои взоры, когда предощущение преобразования мира повеет и над нами? Потому-то так и любим мы этот наш осенний праздник Предобручения радости. Как незабываемо сказал Пастернак:

*Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.*

Шидловского как-то видели в степи, у шинка, в страннической одежде. Он проповедовал Евангелие благоговейной толпе: мужчины стояли с обнаженными головами, женщины плакали. Окончив говорить, он обратился к окружающим с призывом: «Православные, восхвалим Господа Бога» – и запел зычным голосом: «Тебе Бога хвалим». И толпа ему стала подпевать. «Было что-то умилительное, – пишет очевидец, – в этой картине, в этих простых людях, певших с чувством общую молитву». После окончания Шидловский сказал ему: «Поучать меньших наших братьев Слову Божию есть мое истинное призвание. Посмотри, как довольны и искренни эти добрые люди³¹». Достоевский унаследовал от своего друга не только самый дух христианского проповедничества. В записной книжке последних лет жизни Достоевский пишет: «Не от омерзения удалялись святые от мира, а для нравственного совершенствования. Да, древние иноки жили почти на площади» (27: 55). В понятие «площадь» вложено понятие «мир». Одной из больших идей позднего Достоевского, начиная с его работы над «Бесами» в 1870 году и кончая Алешей Карамазовым, была идея сочетания монастыря с миром – монастыря в миру. Не от этого ли проповедника Евангелия у шинка, «на площади», и при этом отпущенного старцем из монастыря в мир, идет зарождение такой нужной для нас идеи? И Владимира Соловьева, который так напомнил Достоевскому Шидловского, Блок назвал «рыцарь-монах», то есть тоже, собственно, монах в миру.

Несомненно, что и Шидловский, и Соловьев были для Достоевского людьми чистого, то есть искреннего, сердечного, христианства. Он считал, что Соловьев похож на Шидловского даже и лицом, и Анна Григорьевна пишет, что про лицо Владимира Соловьева Федор Михайлович говорил, будто «оно ему напоминает одну из любимых им картин Аннибала Карраччи «Голова молодого Христа³²».

Глава III. 40-е годы и начало «Двойника»

В свои темные 40-е Достоевский вступил уже без дружеской поддержки Шидловского, уехавшего из Петербурга. Но, конечно, не всё в эти годы было темным. Белой майской ночью 1845 года Достоевский прочел свою первую повесть «Бедные люди» Некрасову и Григоровичу. Эта повесть о двух смиренных, верующих и страдающих людях, продолжая внешне гоголевскую школу, дала вместо темных и выдуманных «мертвых душ» дивных и светлых людей, нравственной высоте которых может позавидовать любое христианское сердце. От «Бедных людей» идет прямая линия к Мармеладовым – и к дочери, и к отцу. Недаром современное литературоведение заметило, что в этой повести уже проступает проповедь смирения, характерная для позднего Достоевского³³. Замечено также и то, что Макар Девушкин – это первый «прекрасный человек» Достоевского³⁴, то есть мы бы

²⁹ Паскаль Б. Мысли о религии. М., 1902. С. 190.

³⁰ Алексеев М. П. Ранний друг Ф.М. Достоевского. С. 26.

³¹ См.: Р е ш е т о в Н. Люди и дела давно минувших дней // Русский архив. 1886. Кн. 9. С. 226–228.

³² Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 79.

³³ См.: Фридлиндер Г. М. Роман «Идиот» // Творчество Ф.М. Достоевского. С. 186.

³⁴ См.: Гроссман Л. П. Достоевский – художник // Там же. С. 360.

сказали, вспоминая Мышкина и Алешу, – первый его христианин. Наличие этих черт переводит так называемое социальное обличение повести в обличение нравственное, то обличение, которым полна христианская письменность, начиная с Евангелия.

Написанная хорошо и «натурально», повесть не могла не привести в восхищение кружок Белинского. Может быть, этим поклонникам Гоголя и самим мечталось о каком-то выходе из тупика «Мертвых душ». В повести не было ничего мертвого. Восхищение было столь неожиданным и столь приятным для тщеславия молодого автора, что с этого времени началось его истинное «головокружение от успехов» – погружение в самовосхищение и во все другие страсти, которые обычно считаются неизбежными и даже благородными спутниками литературного таланта. Вот некоторые выписки из его писем этого периода к старшему брату Михаилу. «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более... Тургенев влюбился в меня... Ну, брат, если бы я стал исчислять тебе все успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько... Я откровенно тебе скажу, что я теперь упоен собственной славой своей» (28, кн. 1: 115–116).

В том же письме он сообщает брату: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разобрали меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного» (Там же: 116).

Ослепленный успехом, Достоевский, очевидно, пустился во все тяжкие своей необузданной натуры. Тут вспоминается другое его письмо, написанное через двадцать с лишним лет, в связи с его страстью игры в рулетку, которой он тогда был одержим: «...характер мой большой... <.,> Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров, и, может быть, выиграю хоть 2000 франков. Натура моя подлая и слишком страстная: вездето и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил» (Там же, кн. 2: 205, 207).

Когда «Бедные люди» вышли в некрасовском альманахе в январе 1846 года, Достоевский пишет брату: «Какие похвалы слышу я, брат!.. Наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя... Белинский подымает в марте месяце трезвон. Одоевский пишет отдельную статью о «Бедных людях». Соллогуб, мой приятель, тоже. Я, брат, пустился в высший свет... Голядкин в 10 раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного» (Там же, кн. 1: 117–118).

Вспоминается описание внешности Достоевского в 1840-е годы, сделанное его приятелем, доктором Яновским: «Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный казимировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр³⁵». Вот, очевидно, в этом цилиндре он и «пустился в высший свет». Конечно, можно было бы и не поднимать этих тяжелых свидетельств и не портить себе впечатления от майской ночи 1845 года. Но как тогда объяснить поразительный факт неожиданного падения его литературного таланта именно сразу же после «Бедных людей»? Многие это заметили, как только вышла его повесть «Двойник». «Слава моя достигла до апогеи, – пишет он брату через два месяца после предыдущего письма. – Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина...» (Там же: 119).

³⁵ Я н о в с к и й С. Д. Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. № 4. С. 797.

«Успех «Бедных людей», – вспоминает Григорович, – и неумеренно восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском³⁶». Увлечение Белинского не произвело, может быть, такого действия на Достоевского, как внезапный резкий поворот и разочарование Белинского и его кружка. Вот что около этого времени писал Белинский Анненкову: «Достоевский написал повесть «Хозяйка», – ерунда страшная!.. Каждое его новое произведение – новое падение... Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»³⁷

И это действительно так, хотя такое впечатление старательно смягчается в современном литературоведении. Когда читаешь «Двойника», «Роман в девяти письмах», «Прохарчина», «Хозяйку», «Ползункова», «Слабое сердце», «Чужую жену...» и другие вещи 40-х годов, которые, честно говоря, никто и не читает, – то иногда просто не понимаешь, как можно было писать так слабо после «Бедных людей», после пушкинской или лермонтовской прозы. О «Хозяйке» Белинский писал: «Что они говорили друг другу, из чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство, – мы решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных патетических монологов не поняли ни единого слова... Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво³⁸». Добролюбов в 1861 году так охарактеризовал общий итог первого литературного периода Достоевского: «В половине 1849 года литературная деятельность его прекратилась, и литература не выразила при этом особенных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение³⁹».

«Похорошевшие Марианны» и слава соллогубовской гостиниой дорого стоили Достоевскому: он потерял вдохновение и мог потерять навсегда талант. Нельзя пройти мимо этого страшного факта его жизни. Красивая ненужность повести «Белые ночи» не спасала положение для писателя, предназначенного соединить величайшее художественное мастерство с проповедью христианства.

Конечно, в литературном наследстве 40-х годов можно иногда обнаружить спрятанные зерна его будущих великих работ. В «фальшивой и ходульной» «Хозяйке», может быть, есть какое-то начало Рогожина и Настасьи Филипповны, а с некоторой натяжкой даже и Мышкина. Но эти «яркие, большого таланта» искры, как сказал Белинский, «сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю»⁴⁰.

И все же относительно бесплодности для Достоевского 40-х годов надо сделать одну очень большую оговорку. Возникновение того богатства познания писателя, которое досталось нам в наследство, относится именно к этому периоду.

В феврале 1846 года он написал повесть «Двойник». Эта психопатологическая фантазмагория имеет особую идейную судьбу. В конце 1859 года, уже вернувшись с каторги и начав, казалось бы, совсем новый литературный период, Достоевский снова возвращается к «Двойнику» и задумывает его переработать. «Они увидят, наконец, что такое «Двойник»! – пишет он брату Михаилу. – Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?» (28, кн. 1:340). В «Дневнике писателя» 1877 года, то есть через тридцать с лишним лет после напечатания «Двойника», Достоевский, признавая, что «формы не нашел и повести не осилил» (26:65), одновременно пишет о ней: «...серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (Там же). Такое заявление о слабой повести – после «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Подрустка» – очень ответственно. Замысел «Двойника»

³⁶ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 135.

³⁷ Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 457. (Письмо от 15 февр. 1848 г.).

³⁸ Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года //Ф.М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 35.

³⁹ Добролюбов Н.А. Забытые люди // Там же. С. 40.

⁴⁰ 58Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года //Там же. С. 33.

раскрывает, что в духовной жизни Достоевского было определенное звено, соединявшее эту жизнь и с ее прошлым, и с ее будущим. Это была религиозная борьба человека с его личным злом, с его «двойником». Двойник повести воплощает в себе все нравственное зло героя повести Голядкина.

По христианскому миропониманию, физическая смерть и вся совокупность зла вошли в этот мир не случайно и не благодаря каким-то неправильным социально-экономическим отношениям, а только через человеческий грех, то есть через свободный акт человеческой воли. «Грех вошел в мир, и грехом смерть», – говорит апостол. Все зло мира, все его страдание, вся его «смерть», весь узел его скорбей – завязаны где-то в глубинах души человеческой.

«Никакое уничтожение бедности, – писал Достоевский в 1877 году, – никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности... Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже... что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой» (25:101). Очень близко к этому писал в XVIII веке св. Тихон Задонский: «Нет большего зла, как грех. Всем бедам, какие ни бывают в мире, грех причиною есть. Грешит мир и за грехи страдает беды и напасти».

Но это значит, что и все спасение и мира и человека должно идти изнутри же, из свободного внутреннего выбора света вместо тьмы, Бога вместо дьявола, Жизни вместо смерти. И каждый человек всю свою жизнь стоит перед своей двойственной возможностью, перед своим выбором добра или зла. Борьбу с этой второй своей «злой» возможностью он может воспринять как борьбу со своим «двойником».

О законе нравственной двойственности человека, или, как говорил епископ Феофан Затворник, «двоесоставии», так пишет апостол Павел: «Я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек!» Учение о нравственном «двоесоставии», или двойственности, одинаково и на Востоке и на Западе Церкви. В XVII веке католик Паскаль писал: «Разве в этом хаосе и в этом чудовищном смятении (души) не слышится нам незаглушимый голос истины о раздвоенности природы нашей?.. Эта двойственность так заметна, что были люди, полагавшие в себе две души⁴¹». Так что Эдгар По (о нем Достоевский в 1861 году поместил статью в своем журнале) был прав, называя учение о двойственности души «старинным». В наше время это учение очень кратко и четко выразил Экзюпери: «Во мне есть кто-то, с кем я должен бороться, чтобы расти⁴²».

Эту основоположную истину христианства и попытался Достоевский еще неумелою рукой выразить в «Двойнике». Повести он «не осилил», все в ней дано в болезненной и запутанной схеме, но сама великая идея борьбы света и тьмы в душе человека легла с этого времени в основу его художественного творчества, и скелет «Двойника» стал постепенно одеваться плотью его позднейших произведений. Ведь все, что писал Достоевский в эпоху своего расцвета, устремлено к изображению центральной мировой антитезы, того, что, как говорил Митя Карамазов, «дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (14: 100).

Через тридцать лет после своего первого «двойника» Достоевский в «Подростке» вскрывает значение этого термина. «Мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь... и ужасно этого боюсь», – говорит Версилов перед совершением кощунства с образом – и раскалывает его надвое. «Двойник, двойник!.. Да ведь он (Версилов) с ума сошел!.. ведь уж он разбил в моих глазах образ», т. е. по замыслу романа – образ Божий, наследство святого странника Макара. В «Бесах» темный двойник

⁴¹ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 67.

⁴² Сент-Экзюпери А., де. Военный летчик// Сочинения. М., 1964. С. 89.

Ставрогина уже настолько слился с ним или спрятался под его маской, что внешне это совершенно обаятельный человек, хотя иногда люди смутно чувствуют его подлинное лицо убийцы. Только святое сердце Хромоножки способно вполне его разоблачить. «Гришка Отрепьев!» – кричит она этому прекрасному «Ивану-Царевичу», т. е. «лже-Царевич!», «лже-Дмитрий!», подделка, «двойник»! В вариантах «Двойника» 1846 года несколько раз употребляется этот термин – «Отрепьев» и «самозванец».

В 1880 году Достоевский пишет в письме к Е.Ф. Юнге: «Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение... Милая, глубокоуважаемая Катерина Федоровна – верите ли Вы во Христа и в Его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь Ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и Вы получите исход душевный, а это главное» (30, кн. 1: 149).

Закон нравственной двойственности человека – это реальность его земного бытия. Всю свою жизнь человек должен вести борьбу со своим злом, все время делать выбор между добром и злом и, делая выбор в Боге, «получать исход душевный» – еще здесь, на земле, обретать начало своей будущей блаженной и вечной цельности. Это есть закон духовной борьбы и свободы человеческой воли, «потребность нравственного долга» – основоположные идеи христианства.

Достоевский напророчил себе, когда в 1847 году писал брату, что у «Двойника» – «страшная роль в будущем» (28, кн. 1: 139).

А пока что галерея его сумасшедших 40-х годов окончилась скрипачом Ефимовым в «Неточке Незвановой», которая печаталась в то время (1849), когда автора отвезли в Петропавловскую крепость. В этой повести меньше внешней неестественности и длиннот, больше сюжетной ясности, чем в других вещах 40-х годов, но в ней заметен еще более тревожный признак снижения художественного таланта – какая-то фельетонная мелодраматичность. К ней еще больше можно отнести оценку, данную автором в 1864 году «Униженным и оскорбленным»: считая, что в этой вещи есть с «полсотни страниц», которыми он гордится, Достоевский пишет: «Я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно)... Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица... Вышло произведение дикое...» (20: 133–134).

Но в одном отношении «Неточка Незванова» весьма знаменательна. Скрипач Ефимов тоже, как и Достоевский, считает себя гением, тоже ставит перед собой цель – сделаться великим деятелем искусства. Однако скоро, после беспорядочной жизни, оказалось, что «энтузиазм его (в искусстве) был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение» (2: 149) (тут хочется добавить: «Бедных людей»)... «Увериться в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса» (Там же: 155).

Он и сошел. Автобиографичность этой повести о «судорожном энтузиазме в искусстве» несомненна. Мог ли Достоевский не видеть «невыносимую истину» оскудения своего таланта? Весной 1847 года он писал брату Михаилу: «Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чадю... Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад» (28, кн. 1:141). Об этом «аде» он начал писать еще с 1846 года. «Сомнительная известность» делалась все более сомнительной, но, к счастью, ад одиночества и разочарования в себе окончился не безумием, как почти у всех его героев 40-х годов, начиная с Голядкина, а петрашевской катастрофой. Современник его,

О.Ф. Миллер, в материалах к биографии Достоевского пишет: «По собственным словам Федора Михайловича, он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь⁴³».

Выхода из тупика не давало, очевидно, и участие в кружке Петрашевского. Как бы ни было искренне его участие в кружке, трудно предположить, что он мог бы сблизиться сердцем с людьми, которые считали себя учениками не только Фурье, но и Фейербаха, т. е. отрицательно относились к христианству. В связи с этим О.Ф. Миллер пишет: «По свидетельству покойного Спешнева (записано с его слов А.Г. Достоевской), на Федора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой... Сам Спешнев, как припоминал мне на словах г. Момбелли, читал у Петрашевского трактат об атеизме... На религию по-фейербаховски смотрели – Толь, Ахшарумов и др.⁴⁴»

Интересно в этом отношении такое место «Воспоминаний» Тучковой-Огаревой: «В начале Страстной недели (1849 года) у нас собралось несколько друзей Огарева. Между прочими помню – Сатина, Кавелина и Арапетова. Последний рассказывал с большим жаром о собраниях у М.В. Петрашевского... Собрания были весьма многолюдны; особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в Страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет посреди Петербурга⁴⁵». Эти слова подтверждаются также и Семеновым-Тян-Шанским – в Великую пятницу гости Петрашевского разговлялись, как в первый день Пасхи⁴⁶.

Вот какие живые материалы собирал уже тогда Достоевский для антирелигиозного хулиганства Шигалева в «Бесах» и вообще для своей оценки культурного безбожия. Чувствовать себя своим в этой среде он, конечно, не мог. Кажется, и социализм Достоевского не отрывался в эту эпоху от христианства⁴⁷. Вспоминая эти темные для него годы, Достоевский пишет в 1873 году: «Грустное, роковое для меня время» – и дальше рассказывает, как Белинский обращал его в атеизм: «Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма... Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать... но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но... Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием» (Там же: 10).

Трудно сказать, насколько Белинский преуспел в своей атеистической проповеди. Яновский утверждает, что Достоевский и в этот период жизни был верующим и что в 1847 и 1849 годах он вместе с ним говел у Вознесения, и «делал это не для формы⁴⁸». Яновский же рассказывает об одном эпизоде этого времени у Плещеева: «Во время разговора кто-то в совершенно шуточном тоне... сказал: «...и в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение». Услыхав эти слова, Федор Михайлович тотчас замолчал, сильно сосредоточился и все остальное время только и повторял нам, близко к нему находившимся: «Вот оно что, даже и на Евангелие сослался. А ведь это неправда, в Евангелии-то этого не сказано. Когда слышишь, что человек лжет, то делается галко, но когда он лжет и клеветает на Христа, то это выходит и галко и подло».

Известно, какое значение в символах Достоевского занимают косые лучи заходящего солнца – «благодать вечернего света», по выражению святого Василия Великого. Они освещают его творчество до самого конца жизни – в них он передавал и свою радость, и свою величайшую скорбь. И вот характерно, что они появились уже в этот холодный петербургский период и что их появление было

⁴³ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 112.

⁴⁴ Там же. С. 91, 94.

⁴⁵ Огарева-Тучкова Н.А. Воспоминания. 1848–1870. М., 1903. С. 65.

⁴⁶ Семенов-ТянШанский П.П. Мемуары. Пг., 1917. Т. 1. С. 197.

⁴⁷ Говоря о 40-х годах, Л.П. Гроссман пишет, что Достоевский был «приверженец христианской морали, искатель веры даже и в периоды своих сомнений» (Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1962. С. 76).

⁴⁸ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 95.

связано с христианским храмом. В повести 1847 года «Хозяйка» мы читаем: «Был уже вечер... Служба только что кончилась; церковь была почти совсем пуста... Лучи заходящего солнца широкою струей лились сверху сквозь узкое окно купола и освещали морем блеска один из приделов» (1:267). Герой этой повести – Ордын, – так же как и Шидловский, занимается историей Русской Церкви. Через два года после «Хозяйки», перед самой катастрофой 1849 года, вечерние лучи загораются в «Неточке Незвановой» тревожным и предупреждающим светом. «Я вошла в библиотеку... беспредметная тоска терзала меня как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось плакать. В комнате было ярко-светло от последних, косых лучей заходящего солнца, которые густо лились в высокие окна на сверкающий паркет пола» (2: 239).

Ко все более тяжелому душевному состоянию этих предтюремных лет прибавлялась серьезная нервная болезнь. По записи Всеволода Соловьева, Достоевский говорил о своей болезни так: «Мои нервы расстроены с юности. Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь... Мне часто казалось, что я умираю, ну, вот, право – настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно – как только я был арестован – вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла⁴⁹».

О.Ф. Миллер пишет: «Он был до своей катастрофы мнителен до болезненности... нередко оставлял перед сном записочки такого, приблизительно, содержания: «Сегодня со мной может случиться летаргический сон, а потому – не хоронить меня столько-то дней⁵⁰». И вот этот больной и измученный своей ложной дорогой человек был внезапно выведен из ада страстей и болезней, из кошмара литературной фантазмагии в живительный воздух обыкновенной, человеческой, русской тюрьмы. Началась очистительная гроза.

Глава IV. Тюрьма и переходный период

В письме к С.А. Ивановой Достоевский пишет: «Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается» (29, кн. 1: 137138).

В «Подростке» странник Макар говорит: «С годами печаль как бы с радостью вместе смешивается, в воздыхание светлое преобразуется. Так-то в мире: всякая душа и испытывается и утешена» (13: 330).

В этих двух высказываниях Достоевского все христианское понимание страдания. Пасхи мы не представляем себе без Страстной, Воскресения без Голгофы, но и Голгофа непонятна нам и неприемлема без последующего за ней Воскресения, уже теперь, в этой нашей жизни, ясно предошущаемого. Как писал Паскаль: «Ветхий Завет заключал в себе прообразы; пасхальный агнец вкушался с горькими травами⁵¹». Страдание – это великий духовный факт, «закон нашей планеты» (7:154), как пометил Достоевский в записной книжке к «Преступлению и наказанию»; или спасительный, для идущих через него в смирении, или гибельный, для его отрицающих. И это удивительное дело: чем больше мир отрицает идею страдания, чем больше протестует против него с таким, очевидно, искренним неголованием («страдание – позор мира⁵²», – писал Горький), – тем все глубже, страшнее и безнадежнее он в это страдание погружается.

⁴⁹ Исторический вестник. 1881. № 3. С. 606.

⁵⁰ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 111–112.

⁵¹ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 56.

⁵² Письмо А.М. Горького к М.М. Зощенко от 25 марта 1936 г. Цит. по: Бялик Б. А. Достоевский и достоевщина в оценках Горького. С. 78.

Достоевский был арестован 23 апреля 1849 года и отвезен в Петропавловскую крепость, где просидел в Алексеевской рavelине восемь месяцев. Конечно, действительность этой тюрьмы не вполне отвечала тем мрачным представлениям о ней, которые внушили нам некоторые романисты. Люди, сидевшие в ней, не были «одеты камнем». Из воспоминаний, собранных О.Ф. Миллером, известно: первые два месяца арестанты находились в полной изоляции, но затем им стали выдавать книги из тюремной библиотеки, позволили писать (Достоевский там написал рассказ «Маленький герой»), разрешили переписку с родными, даже получение книг из дома, а с августа – прогулки в саду, где росло 17 деревьев. Питание было достаточное. Разрешались пищевые передачи. Главная тяжесть была в сырости и темноте казематов – и, конечно, в одиночестве. По словам одного из заключенных-петрашевцев – И.М. Дебу, – одиночество их возбуждало сострадание коридорного сторожа, из гарнизонных солдат, еще не старого. По временам он отворял из коридора окошечко, находившееся в двери каземата, и говорил: «Скучно вам? потерпите! и Христос терпел. И за что это вас посадили? все вы тихие такие, а бывало, тут всё такой буйный народ⁵³». Это была настоящая, трудная тюрьма, и не удивительно, что уже в августе Достоевский писал брату Михаилу: «К ночи усиливается впечатлительность, по ночам длинные, безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени мне всё кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в паровой каюте. Из всего этого я заключаю, что нервы мои расстраиваются» (28, кн. 1: 159). Удивительно не это, а то, что, несмотря на тяжесть сидения в одиночке старой, темной, неблагоустроенной тюрьмы, мы видим в молодом писателе процесс не разрушения, а, наоборот, восстановления – и душевного, и физического.

«Я и не унываю, – пишет он брату в июле, – конечно, скучно и тошно, да что ж делать! Впрочем, не всегда и скучно... Теперь ясные дни... и немножко веселее стало... У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь... Я здесь читал немного: два путешествия к св. местам и сочинения святого Димитрия Ростовского. Последние меня очень заняли» (Там же: 156–157).

«Я теперь могу иметь свечу по вечерам... Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно. Но всего лучше, если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне нужно... Всё это еще ничего; можно жить. Авось, успею поправиться» (Там же: 158–159) – это из его письма в августе. В сентябре он добавляет: «Книги (Шекспир, Библия, «Отеч. Записки»)... я получил... Покамест всё хорошо относительно здоровья. Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь» (Там же: 160).

В разговоре со Всеволодом Соловьевым в 1874 году Достоевский, указывая на какую-то нервную болезнь своего собеседника, сказал ему:

«Я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности, то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал – мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и – вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал «Маленького героя» – прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик...

Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!» Это было сказано до такой степени

⁵³ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 110.

горячо и серьезно, – замечает Вс. Соловьев, – что я не мог не засмеяться и не обнять его⁵⁴». О получении в тюрьме Библии и своем духовном перерождении Достоевский в эти же, 70-е годы рассказывал молодой корректорше «Гражданина» – Починковской⁵⁵.

Самое страшное переживание ожидало его в связи с объявлением приговора. Все петрашевцы были приговорены к каторжным работам (Достоевский – на четыре года) или к высылке, но в целях устрашения была инсценирована смертная казнь через расстрел.

Это было совершено 22 декабря 1849 года. Вернувшись в тюрьму с Семеновского плаца, где производилась инсценировка, Достоевский в этот же день пишет брату Михаилу: «Не тужи, ради Бога, не тужи обо мне!.. Через четыре года облегчение судьбы... Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения, и теперь еще раз живу! Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление – скажи им, чтоб забыли об этом... Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью... Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства... уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это всё-таки жизнь!

Ну, прощай, брат! Обо мне не тужи!.. Книги (Библия осталась у меня) и несколько листков моей рукописи... у меня отобраны и достанутся, по всей вероятности, тебе... Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю... Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое. Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменя жизнь, перерождаюсь в новую форму... Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых, я мало берег себя прежде... Я не потеряю надежду и сохраню дух-мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему» (28, кн. 1: 162–164).

Рассказывают, что во время чтения смертного приговора на Семеновском плацу проглянуло солнце⁵⁶. В прощальном письме этого же дня Достоевский пишет: «On voit le soleil! (Видишь солнце!)» (28, кн. 1:162). Тридцать лет спустя он напишет в своей «Кане Галилейской»: «Видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?» (14: 327). Много солнца было в этом человеке, который в представлении многих несет в себе одну темноту. И разве для солнечного обретения не были действительно необходимыми и даже легкими посылаемые ему страдания? Но прежде всего было необходимо покаяние в прошлом, во всей его темноте, покаяние истинное, тюремное, и мы видим в этом потрясающем письме всю его искренность и глубину. «Как оглянусь на прошедшее». Так же и у Пушкина:

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклиная,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью...

С той только существенной разницей, что Пушкин, написав эти строчки, может быть, начал собираться на бал, а Достоевского начали готовить к этапу.

⁵⁴ Исторический вестник. 1881. № 3. С. 611.

⁵⁵ См.: Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 122–185.

⁵⁶ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 118.

Но это было покаяние во всей нравственной нечистоте прошлого. Покаяние в ошибках ума пришло не сразу. Нужны были четыре года на нарах с каторжниками, чтобы осознать и их. В 1873 году Достоевский пишет: «Я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни <...> Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности <...> Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма <...> Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» <...> Раз отвергнув Христа, ум человеческий может до удивительных результатов <...> Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния... В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно)... можетбыть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих... но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не голды ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас... Нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши... Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье <...> Это не так скоро произошло, а постепенно <...> Трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной <...> Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений» (21: 129–134).

О том же изменении идейных убеждений он писал еще в 1856 году Майкову: «О прежнем же говорить не у места, да и было-то оно не более, как случай. Идеи меняются, сердце остается одно» (28, кн. 1: 208). О том же – и в письме к Э.И. Тотлебену: «Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменял мои мысли» (Там же: 224)80.

В этап Достоевский поехал в ночь на Рождество 1849 года, то есть через три дня после прочтения приговора. Вспоминая об этом уже после выхода из острога, он писал брату Михаилу: «Ровно в 12 часов, то есть ровно в Рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10 и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4-х санях, фельдгегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце... Но свежий воздух оживлял меня, и... я в сущности был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности» (Там же: 167).

Приятель Достоевского, А.П. Милюков, так вспоминает свое прощание с ним перед этапом: «Нас провели в какую-то большую комнату, в нижнем этаже комендантского дома. Давно был вечер, и она освещалась одною лампою. Мы ждали довольно долго, так что крепостные куранты раза два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за неюбрякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф.М. Достоевский и С.Ф. Дуров... Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменялись: то же серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого... Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается... В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его... «И в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня... В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил...» Более получаса продолжалось наше свидание... В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки. Ночь была не холодная и светлая... Куранты проиграли девять часов, когда выехали двое ямских саней, и на каждых сидел арестант с жандармом...⁵⁷»

⁵⁷ Милюков А. П. Ф. М. Достоевский //Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1.С. 191–192.

Вспоминаются слова Мити Карамазова: «Столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук – я есмь; в пытке корчусь – но есмь!» (15: 31)82.

В воспоминаниях петрашевца И.Л. Ястржембского, ехавшего в Сибирь вместе с Достоевским, есть живые подробности этапного пути. «Мы прибыли в Тобольск... Повели нас в камеру. Узкая, темная, холодная, грязная комната... За дверью, в сенях, слышались тяжелые шаги часового, ступающего взад и вперед на сорокаградусном морозе. Мы присели и скорчились – Дуров на нарах, а я рядом с Достоевским на полу. За тонкой стеной, или скорее перегородкой, где, как мы узнали после, помещались подсудимые, слышалось постукивание шкаликов и рюмок, возгласы играющих в карты и в юлу, и такая ругань, такие проклятия... У Дурова пальцы на руках и ногах были отморожены и ноги сильно повреждены от кандалов. У Достоевского, кроме того, еще в Алексеевском рavelине открылись на лице и во рту золотушные язвы... Среди такой неприглядной обстановки мне вспомнилась моя жизнь в Петербурге среди молодых, симпатичных и умных товарищей по двум университетам: киевскому и харьковскому... Я думал, что для меня нет спасения, и решил покончить с собою, к чему еще в Алексеевском рavelине я сделал удачные приготовления... Напоминаю об этом тяжком прошедшем единственно потому, что оно дало мне возможность ближе узнать личность Достоевского. Его симпатичная и милая беседа излечила меня от отчаяния и пробудила во мне надежду. Совершенно нечаянно и нежданно мы получили сальную свечу, спички и горячий чай, который нам показался вкуснее нектара... У Достоевского оказались превосходные сигары, которых, по счастью, недосмотрел почтенный Иван Гаврилович. В дружеской беседе мы провели большую часть ночи. Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения⁵⁸».

«В Тобольске, – пишет сам Достоевский в «Дневнике писателя» 1873 года, – когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь... Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим» (21: 12).

В «Записках из Мертвого дома» рассказывается о таком чтении Евангелия молодому дагестанцу. «Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь... Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел... «Ах, да! да, Иса святой пророк, Иса Божии слова говорил. Как хорошо!» – «Что ж тебе больше всего нравится?» – «А где он говорит: прощай, люби, не обижай и врагов люби. Ах, как хорошо он говорит!» (4:54).

И вот началась жизнь в Мертвом доме, в одной из самых суровых каторжных тюрем того времени – в Омске, – жизнь с наполовину обритой головой и в серо-черной куртке с желтым тузом на спине. Начались «его университеты». Человек, живший среди книг и рукописей, был брошен в страшную толпу чужих людей. Все эти четыре года Достоевский, кажется, очень мало читал⁵⁹. Он, очевидно, весь ушел в себя.

«Помню, что во всё это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою... судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне

⁵⁸ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 125–126.

⁵⁹ Достоевский «отказывался даже от чтения... книг и только два раза заинтересовался «Давидом Копперфильдом» да «Замогильными записками Пиквикского клуба» Диккенса, в переводе Введенского, и брал их в госпиталь для прочтения» (Мартьянов П. К. Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки. СПб., 1896. С. 268).

это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни», – сказано в «Записках из Мертвого дома» (4:220).

«Я видел народ наш, – пишет Достоевский в «Дневнике писателя», – и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам «к злодеям причтен был»⁶⁰, работал с ним настоящей мозольной работой, в то время когда другие, «умывавшие руки в крови», либеральничая и подхихикивая над народом, решили на лекции и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала» (26:152).

«Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны – всё это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее... и, помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в Божий дом... Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку... «Тоже ведь и я человек, – может быть, думал он или чувствовал, подавая, – перед Богом-то все равны...» Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «...но яко разбойника мя приими», – почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет» (4: 176–177).

Закончив свой срок, Достоевский вышел из омской тюрьмы 23 января 1854 года. Согласно приговору он был зачислен рядовым в Сибирский линейный батальон, находившийся в Семипалатинске. Еще из Омска он пишет брату Михаилу свое первое письмо «с воли»: «Вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал... Мне нужно денег и книг... Мне надо (крайне нужно) историков древних (во французском переводе) и новых, экономистов и отцов Церкви... На душе моей ясно. Вся будущность моя и всё, что я сделаю, у меня как перед глазами. Я доволен своею жизнью... Люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны... Что за чудный народ! Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его... Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может, и раньше... а я теперь вздору не напишу... Не забудь же меня книгами, любезный друг. Главное: историков, экономистов, «Отечеств. Записки», отцов Церкви и историю Церкви» (28, кн. 1: 171–173). В марте он опять просит брата: «...попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат... европейских историков, экономистов, святых отцов» (Там же: 179).

Из Омска же в середине февраля 1854 года он послал письмо к Н.Д. Фонвизиной. Адресат этого удивительного письма, смысл которого он повторяет в 1870 году в «Бесах» и в записной книжке 1880 года, не случаен. Жена декабриста, Н.Д. Фонвизина, была, очевидно, одной из тех замечательных русских женщин XIX века, которые умели нести иго Христово, не уходя из мира. Свой путь «монастыря в миру» она начала еще с четырнадцати лет, совершая различные тайные подвиги. Когда к ней упорно стали свататься женихи, она с помощью своего духовника, деревенского священника, переделалась в мужскую одежду и убежала в монастырь. Пройдя лесом в два дня семьдесят верст, изорвав платье и разбив в кровь босые ноги и уже приблизившись к обители, она была настигнута и возвращена к родителям. Она обещала им оставаться с ними, если они не будут принуждать ее к браку. Вышла она замуж через несколько лет за своего двоюродного дядю, М.А. Фонвизина, который выручил ее родителей из тяжелых материальных затруднений. Его предложение она приняла как

⁶⁰ Ис. 53, 12. Ср.: «И сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен» (Мк. 15, 28; Лк. 22, 37).

указание воли Божией. Ее муж был необыкновенно добрый, любящий и верующий человек⁶¹. Это она вместе с Муравьевой и Анненковой благословила в Тобольске петрашевцев Евангелием. «Я скажу Вам про себя, – писал ей Достоевский, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, КН.1: 176).

Это письмо, как бы нарушая все традиции богословской грамотности, выразило самую дорогую для нас истину – о неразрывности веры во Христа и любви к Нему. Как сказано в одной молитве: «Мы веруем сердечною любовью». И может быть, еще придет время, когда в полном смешении человечеством добра и зла, в окончательном тумане лжи, неведения и новых божеств, утверждающих истину вне Христа, – кто-нибудь с великой радостью повторит именно эти неграмотные слова: «Уж лучше я останусь со Христом, нежели с истиной⁶²».

Достоевский «говорил о Христе с восторгом», – вспоминает о той же сибирской эпохе 1854–1855 годов А.Е. Врангель⁶³. Каторга начала приносить свои плоды, и это было за 25 лет до «Карамазовых». «Что выросло, что созрело, что завяло, что выбросилось вон, вместе с плевелами, – пишет Достоевский в том же, 1854 году брату, – того не передашь и не расскажешь на клочке бумаги... Каторга много вывела из меня и много привила ко мне... Не подозревай, что я такой же меланхолик и такой же мнительный, как был в Петербурге в последние годы. Всё совершенно прошло, как рукой сняло. Впрочем, всё от Бога и у Бога» (28, кн. 1: 180).

Как будто начиналась новая, и великая, эпоха его жизни. В письме к Фонвизиной есть такая фраза: «Я в каком-то ожидании чего-то... и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная» (Там же: 177).

Это писалось через две-три недели после выхода из тюрьмы, при переходе на положение ссыльного. И действительно, если взять все письма, написанные в первые недели и месяцы после острога, то надо было бы уже в это время ожидать от него чего-то решительного, глубокого и сильного. Однако этого мы не видим: «в скором, очень скором времени», как он надеялся, ничего не произошло.

В Семипалатинске он прожил с марта 1854 до июля 1859 года, пять с лишним лет, сначала солдатом, потом офицером, и эти годы воспринимаются не как период духовного подъема и творческой радости, а именно как период, пользуясь его выражением, «манкированный», как бы еще ничего не давший. Конечно, это не совсем так, и не потому, что в Семипалатинске были написаны «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон» – вещи для Достоевского случайные и второстепенные, а

⁶¹ См. об этом: Францева М. Д. Воспоминания// Исторический вестник. 1888. № 5–7.

⁶² Интересно, что почти в те же самые годы написал свой «символ веры» и Толстой. Вот строчки его «Дневника»: «14 ноября 1852 года. Утром писал порядочно; ездил верхом... Составил краткую форму своего верования... «Верую во Единого, непостижимого доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие за дела наши. Не понимаю тайны Троицы и рождения Сына Божия, но уважаю и не отвергаю веру отцов моих» (Дневник молодости Л.Н. Толстого. М., 1917. Т. 1: 1847–1852. С. 165). Уже тогда для Толстого, несмотря на все его внешнее православие («веру отцов»), личность Христа была «непонятна». В «символе веры» Достоевского, наоборот, всё – в личности Христа, постигаемой и понимаемой как то, без чего нельзя жить

⁶³ Врангель А. Е. Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири. 1854– 1856. Цит. по:Чешихин-Ветринский В. Е. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. М., 1912. С. 76.

потому, что под волнениями возникшего тогда истерического романа с М.Д. Исаевой, его первой женой, со всеми его перипетиями, утомительными для читателей его писем, под волнениями борьбы за восстановление своего литературного положения, под волнениями постоянного безденежья, под волнениями уже явно определившейся эпилепсии, – конечно, шел все тот же духовный процесс, который начался в тюрьме и который в результате дал миру того Достоевского, который был ему так нужен. Как утверждал П.Н. Сакулин, «всё зрелое творчество Достоевского корнями своими уходит в годы каторги и ссылки⁶⁴», но эти корни тогда еще не давали зеленых побегов. Духовную жизнь Достоевского скорее можно почувствовать в некоторых частных подробностях воспоминаний этого периода, например воспоминаний А.Е. Врангеля: «Любимое [его] времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его⁶⁵».

Так продолжалось, собственно, десять с лишним переходных лет, если считать от выхода из тюрьмы в 1854 году и до начала эпохи великих романов в 1865-м. Только «Записки из Мертвого дома», начало писания которых относится к сибирскому периоду, с их положительными образами духовной красоты и смирения, дают нам некоторое литературное обнаружение этого духовного процесса. Толстой в письме к Н.Н. Страхову сказал об этой вещи: «Точка зрения удивительна, искренняя, естественная и христианская⁶⁶».

В 1865 году Достоевский начал писать «Преступление и наказание». Только с этого года он заговорил о Христе совсем открыто, и именно с этого года расцвел наконец его талант в полную свою меру. Совпадение в нем творческого расцвета с открытой христианской проповедью – факт поразительный и очевидный, и в свете его тем более досадными воспринимаются нами эти десять переходных лет.

Все в том же письме к Фонвизиной, заканчивая свой «символ веры», он пишет: «Но об этом лучше перестать говорить». И дальше добавляет: «Впрочем, не знаю, почему некоторые предметы разговора совершенно изгнаны из употребления в обществе, а если и заговорят как-нибудь, то других как будто коробит? Но мимо об этом...» (28, кн. 1:176). Замечание «почему?» – только придавленное возмущение перед каким-то законом неверующего или равнодушного общества, который он не считает еще возможным нарушить, несмотря на свое возмущение: «Но мимо об этом». Как писала, вспоминая 1873 год, О. Починковская: «Христос, христианство – об этом давно уже не говорили в известных слоях нашего общества⁶⁷». «Лучше перестать говорить», – пишет Достоевский в письме к Фонвизиной. И он «перестал говорить» до 1865 года, и мы видим, что в его духовной и творческой биографии наступила какая-то задержка, скованность сердца и языка в области искусства⁶⁸.

Сослуживец его в 1854 году по семипалатинским солдатским казармам Н.Ф. Кац рассказывает, что из книг Достоевский имел только одно Евангелие, которое он берег и, видимо, очень им дорожил. Но Евангелие точно лежало еще под спудом, под солдатской подушкой. Может быть, именно к этому переходному времени относятся слова, сказанные старцем Зосимой о своей юности: «Читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием; Библию же одну никогда почти в то время не развертывал.

⁶⁴ Сакулин П.Н. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. М., 1926. С. 336.

⁶⁵ Врангель А. Е. Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири. 1854–1856 // Чешихин-Ветринский В.Е. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. С. 75–76.

⁶⁶ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым // Современный мир. СПб., 1913. Дек. С. 67.

⁶⁷ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 131.

⁶⁸ В области личных отношений этой скованности, по-видимому, не было. В начале 1865 года Достоевский рассказывал С. Ковалевской о своем семипалатинском периоде 1854–1859 годов и о споре его в Пасхальную ночь с приехавшим товарищем. Ковалевская пишет: «Товарищ был атеист, Достоевский – верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем. «Есть Бог, есть!» – закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загустел и заколыхался. «И я почувствовал, – рассказывал Федор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся Им. Да, есть Бог! – закричала я – и больше ничего не помню» (Ковалевская С. В. Воспоминания детства. М., 1960. С. 105).

но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не ведая» (14: 268).

В мае 1859 года Достоевский получил наконец долгожданное увольнение от принудительной военной службы и разрешение на выезд в Европейскую Россию. Местожительством ему была определена Тверь. Второго июля начался переезд на купленном собственном экипаже из Семипалатинска в Тверь через многие города, и в том числе через Троицкую лавру. Сохранилось письмо Достоевского к его ротному командиру в Семипалатинске А.И. Гейбовичу с описанием этого великого переезда.

«В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, – пишет он, – скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрали наконец на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб, с надписями, и при нем в избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел наконец Господь увидеть обетованную землю. Затем вынулась Ваша плетеная фляжка, наполненная горькой померанцевой, и мы выпили с инвалидом на прощанье с Азией» (28, кн. 1: 361–362)98.

В своих воспоминаниях о Достоевском поэт Майков приводит следующие слова своего друга: «Может быть, там, наверху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня привести на каторгу, чтобы я там... узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга с их материальным развитием, и чтобы это самое главное я... другим сообщил, чтобы другие (хоть не все, хоть очень немногие) лучше стали хоть на крошечку, хоть частичку бы приняли, хоть бы поняли, что в бездну стремятся, – и этого довольно. И этого уже много. И из-за этого стоило пойти на каторгу⁶⁹».

В этом волнении о духовной судьбе людей, живущих вне Христа, – все творчество расцвета Достоевского. Оставив позади «манкированный» период, уже ничего не умалчивая и уже не боясь, что это будет кого-нибудь коробить, он навсегда отдался своему благородному волнению, когда начал писать свою, как он любил говорить, «поэму» о Соне и Раскольникове.

Глава V. Явление Христа в современности

Годы 1864–1865-й были для Достоевского временем «перелома его жизни надвое», как он писал в одном письме. В апреле 1864 года умерла его первая жена, Мария Дмитриевна Исаева. В июле того же года неожиданно умер любимый брат и верный друг Михаил. В начале 1865 года прекратил свое существование его второй журнал «Эпоха». В марте-апреле 1865 года он пишет А.Е. Врангелю про смерть жены: « 16-е апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас... Когда она умерла -я... никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею... Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату, – он один у меня оставался, но через три месяца умер и он... И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое» (28, кн. 2: 116).

В это же время – в апреле 1865 года – он писал Н.П. Сусловой: «Я кончаю жизнь, я это чувствую» (Там же: 123). А еще через несколько месяцев он начал писать «Преступление и наказание», то есть, наоборот, началась его новая и большая жизнь. И в том же письме к Врангелю, после слов отчаяния, есть такая фраза: «А между тем всё мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть» (Там же: 120). И в письме к А.В. Корвин-Круковской через год, в 1866-м: «Мне всё мерещится, что хандра моя ужасный вздор. Кажется иногда, что столько сил внутри и что мне много-много еще пережить надо» (Там же: 158).

О христианской жизни Достоевского в период, предшествовавший перелому, мы мало знаем. Небольшой свет, может быть, проливает письмо к нему брата Михаила в ответ на известие о смерти

⁶⁹ Чешихин-Ветринский В. Е. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. С. 76.

Марии Дмитриевны. «Нынче получил я письмо твое с печальной вестью. Милый, добрый друг мой, я всё это время, с самой нашей разлуки, так много и так часто думал о тебе... Дай Бог ей Царство Небесное. Врагом ее ни я, и никто из моих не был... Зазвонили к заутрене, зажгли плошки, и по городу пошел гул от колоколов и экипажей – Христос воскрес! Обнимаю тебя крепко⁷⁰». Через три месяца после этого письма пасхальной ночи умер и тот, кто его писал.

Тяжелые удары смертей и несчастий точно разбудили Достоевского, дали окончательный толчок его духовной жизни. «Отсюда, – пишет Страхов, – начинается лучшая половина его жизни⁷¹».

В 1865 году было начато «Преступление и наказание», в 1868 году он пишет «Идиота», в 1870-м начинает роман «Бесы». В середине 60-х годов Достоевский, несмотря на свое все еще живое подполье, обрел наконец полноту таланта, ту силу, которую он так долго носил в себе, точно под спудом. И это произошло тогда, когда в «Преступлении и наказании» он открыто сказал о Христе. Правда, еще в 1864 году он сделал для этого первую, но совершенно неудачную попытку. По замыслу «Записок из подполья», выход из этого тупика был в вере во Христа, но цензура вычеркнула это место. В марте 1864 года он пишет брату Михаилу: «Там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа – то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?» (28, кн. 2: 73). Но независимо от нелепости цензурных действий святейшее имя – конечно, промыслительно – ушло из этой больной и художественно слабой повести. Ее верные мысли о том, что никакая разумность и никакая социальная необходимость или полезность вне живой веры в Бога не удержат человека от той или иной безнравственности – явной или тайной, – это, конечно, все те же мысли о неразрывности веры и нравственности, неверия и безнравственности, которые Достоевский будет постоянно развивать впоследствии. Но, очевидно, сама по себе верность мысли еще не дает ей власти над людьми и даже над тем, кто ее носит. Человек подчиняется только любви и любящей мысли, а «Записки из подполья» были еще только «исповедью человеческой злости⁷²».

Достоевский заговорил, «как власть имеющий», только с «Преступления и наказания»; именно с этой вещи художественная форма вдруг сделалась драгоценной тканью его христианской мысли. Страдальческий перелом сделался началом великого пути. «Покупается счастье страданием» (7,154), – пишет он в черновике «Преступления и наказания», и эта фраза стоит после слов «православное воззрение» (Там же). Современное литературоведение отмечает, что в этом романе «впервые появляется персонаж, главная функция которого – служить воплощением «православного воззрения⁷³». «Все последующие книги Достоевского, – пишет Гроссман, имея в виду произведения, созданные после «Записок из подполья», – посвящены проблеме Христа в современности⁷⁴».

Но христианство Достоевского в искусстве – это не речи проповедника. Это почти не определяемая локально, но всегда ясно ощущаемая общая точка зрения на мир, какой-то луч света, откуда-то сбоку освещающий мрачное царство его художественных трагедий. Попадая в стихию его больших романов, мы знаем, что вошли в стихию христианского миропонимания, что стали видеть и понимать мир по-христиански, что в этом аду нас сопровождает Вергилий, христианское чутье которого адекватно его чутью художественному. И в то же время христианство Достоевского в романах не беспредметно. Он прямо именуется Христом, и всегда, начиная с рассказа Мармеладова о Страшном Христовом суде и кончая видением Его Алешей Карамазовым в «Кане Галилейской», – это не абстрактное упоминание, а любящее слово о Нем, произносимое человеком и художником. Сцену чтения Евангелия в «Преступлении и наказании» Гроссман называет «одной из величайших страниц

⁷⁰ См.: Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования / Под ред. А.С. Долинина. Л., 1935. С. 553–554.

⁷¹ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 283.

⁷² См.: Свенцицкий В. Жизнь Достоевского. М., 1911. С. 35.

⁷³ Евнин Ф. И. Роман «Преступление и наказание» // Творчество Ф.М. Достоевского. М., 1959. С. 129.

⁷⁴ Творчество Достоевского. Сб. статей... Одесса, 1921. С. 85.

Достоевского⁷⁵». Не то же ли самое можно сказать о страницах, где Христос целует мертвые уста Инквизитора или где Хромоножка плачет, припав к земле в молитве, а «солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное»? (10:117).

Начиная с 1865 года Достоевский по-новому подошел и к основной идее христианства, и своего творчества: к нравственному дуализму человека, к идее «двойника», так неумело отраженной в повести 1846 года. Человека борет его «двойник», его зло, его грех, причем победа «двойника», если он ее достигает, в том и заключается, чтобы вытравить из человека само понятие о нравственной темноте, о грехе, о различии между добром и злом, чтобы убедить сознание, что никакой духовной борьбы не должно быть – по той простой причине, что никакого духовного зла и не существует. Победа «двойника» в том, чтобы доказать, что его вовсе нет.

«Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины» (10:201), – кричит Шатов Ставрогину. «Раньше... делали подлое, – писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1873 года, – но знали, что делают подлое, а что есть хорошее: теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его» (21: 101). Об этом же в последнем романе так говорит Зосима: «Те (высшие классы. – С.Ф.) уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему: ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление?» (14: 286).

В объявлении о подписке на второй журнал Достоевского «Эпоха» на 1865 год (цензорская пометка от 22 октября 1864 года) есть такое место: «Всё более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас, по совести, знает теперь, что зло и что добро? Всё обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему» (20: 218). В этих словах уже заявлена тема Раскольникова, и роман был начат летом 1864 года.

В «Макбете» хор ведьм поет: «Грань между добром и злом, сотришь⁷⁶». Это заклинание начало звучать не только с эпохи Шекспира. Человечество уже давно стремится стереть эту грань, разбить каменные скрижали Моисея. В результате потери чувства Бога, чувства света, люди стали терять и чувство тьмы, ощущение греха. В Патерике есть рассказ, как одного святого спросили: почему человек не замечает своих грехов? Он ответил: когда луч солнца входит в комнату, он делает заметными даже малейшие пылинки, летающие в воздухе. Так и луч Божий – светильник веры. Об этом осознании своего преступления и был написан роман о Раскольникове, самый простой роман Достоевского, точно иллюстрация к простому рассказу Патерика.

Я уже сказал, что вечерние лучи начиная с 40-х годов занимают в символах Достоевского особое место⁷⁷. В «Преступлении и наказании» они появляются с самого начала, как только Раскольников приходит к старухе «для пробы» убийства.

«- Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем» (6: 8). Здесь лучи были предостережением, укором, мольбой, чтобы не совершилось безумие. И Раскольников это чувствует. «Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул: «О, Боже! как это все отвратительно!.. И неужели такой ужас мог прийти мне в голову?..» Он не знал, куда деться от тоски своей» (6: 10).

⁷⁵ Там же. С. 92.

⁷⁶ Ш е к с п и р У. Макбет. Акт 1. Сцена 1.

⁷⁷ «Иногда один луч солнца заставляет лучше понять мир, чем бесконечные размышления». Приведа эти слова Ж. – М. Гюйо («Искусство с социологической точки зрения»), о. П. Флоренский пишет: «Закатный луч – символ нашей связи с другим миром... Это одна из музыкальных тем Достоевского» (Столп и утверждение истины. С. 659–660). В этой же работе читаем: «Переживание бытия как блага есть зародыш онтологического доказательства бытия Божия... Эта мысль, – пишет Флоренский, – основной узел жизнепонимания Достоевского» (с. 783–784).

Он все же совершил убийство, и даже два, желая доказать, что никаких лучей нет, что они – пережиток. Ведь «господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял наперед, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия» (Там же: 14), – говорит в романе Мармеладов. Но перед убийством была снова душевная борьба и почти победа совести, и опять разговор вечерних лучей. «Ему вдруг стало дышать как бы легче... «Господи, – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!» Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца... Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар...» (Там же: 50).

Здесь лучи яркого, красного солнца были видением самой блаженной для человека свободы – свободы от своего зла.

Раскольников с самого начала показан как больная, но живая душа. Бог ушел из его гордого разума, но где-то в сердце, как огонь под пеплом, еще хранится Его тепло и даже Его молитва. В этом все объяснение и его тоски, и возможности его будущего покаяния. Он не Фома Опискин и не Лужин. В нем нет того свойства, которое было особенно ненавистно Достоевскому: самодовольного и сытого спокойствия. В этом он видел отличительную черту своей умирающей эпохи и именно то, что больше всего препятствовало ее оздоровлению: больной, считающий себя здоровым, – самый опасный. Не в «разночинстве» Достоевского, а в ненависти к самодовольству надо искать главную причину его неприязни к Тургеневу и всей, как он говорил, «помещичьей литературе»⁷⁸. «О, выписавшиеся помещики!», «Жеребец в мундире» (о Вронском) – вот его обычные реплики. Даже о славянофилах, к которым он сам себя стал причислять, во всяком случае с 1866 года, он еще в 1863 году в письме к Страхову как-то с досадой сказал: «Какая-то удивительная аристократическая сытость при решении общественных вопросов» (28, кн. 2:53).

И во внешнем его облике, как передают современники, не было ничего «аристократического». «Меня поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть⁷⁹». «На нем была какая-то печать скромности, конфузливости, скажем более, – забитости и угловатости»⁸⁰, – замечает о нем один редакционный некролог. «Наружность незначительная... Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль⁸¹», – отмечал один из его собеседников. .

Слова об «угрюмости» надо, очевидно, принимать с оговоркой. Лето 1866 года, когда писалась пятая часть «Преступления и наказания», Достоевский проводил на даче в Люблине, где жила семья его сестры, Веры Михайловны, по мужу Ивановой. К ее дочери, своей любимой племяннице С.А. Ивановой, он впоследствии написал одно из наиболее своих сердечных и глубоких писем («милый друг Сонечка»). От этой дачной жизни остались воспоминания Н. Фохта. Он пишет: «По вечерам на прогулку нас собиралось со взрослыми до двадцати человек. Всё это общество было всегда беззаботно весело, всегда царствовало во всем полное согласие... Душою этого общества всегда были А.П. Иванов и Ф.М. Достоевский... Счастливым это было время! Прогулки обыкновенно заканчивались разными играми в парке, которые затягивались иногда до полуночи... Ф.М. Достоевский принимал самое деятельное участие в этих играх, и в этом отношении проявлял большую изобретательность

⁷⁸ См. письмо Достоевского от августа 1867 г. А.Н. Майкову: «Не люблю тоже его (Тургенева) аристократически-фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное... И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты! Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, Боже мой: деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный!.. Вместо высочайшей красоты Божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы...» (28, кн. 2: 210).

⁷⁹ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854–1886). М.; Л., 1934. С. 458/

⁸⁰ К портрету Ф.М. Достоевского // Исторический вестник. 1881. № 3. С. 482.

⁸¹ Опочинин Е.Н. Беседы с Достоевским // Звенья. М.; Л., 1936. Т. VI. С. 457.

<...> Он забавлялся с нами, как дитя, находя, быть может, в этом отдыхе успокоение... Ф.М. очень любил музыку, он почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа... Шопена Федор Михайлович не особенно жаловал, называя (его музыку) «чахоточной». Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего «Рогнеда»<...> Однажды в присутствии Ф.М. Достоевского я сыграл на рояли немецкий романс на известные стихи из Гейне: «Du hast Diamanten und Perlen...» Романс этот очень понравился Федору Михайловичу и он полюбопытствовал узнать, где я его слышал. Я ответил, что несколько раз слышал, как его играли шарманщики в Москве⁸²».

Далее Фохт упоминает об игре московских шарманщиков. Эти шарманщики были органической частью того городского пейзажа Достоевского, который проявляется у него уже в «Бедных людях». И Раскольников любил слушать, как поют под шарманку. Мы в своем детстве еще застали ее и помним точно какую-то мировую ее скорбь, наивно звучащую в каменных колодцах столичных дворов.

Всегда быть веселым и простым Достоевский, конечно, не мог. Он слишком близко видел тот страшный мир, который ему было дано видеть. Он понимал, что разлив зла в человечестве есть величайшая угроза истории, что это есть признак приближения ее конца. Предчувствием конца он был полон уже в эпоху создания «Преступления и наказания». Вот бред Раскольникова в эпилоге: «Ему грезились в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной мировой язвы... Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей... Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные... Все были в тревоге и не понимали друг друга... не могли согласиться, что считать злом, что добром... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... Все и всё погибало» (6:419–420). Это видение погибающего от неверия и гордости мира автор дает как последний толчок к очищению сознания Раскольникова. Только после него он бросился окончательно к Соне, хорошо знавшей, что считать злом, что добром: гордость его разума была, наконец, сломлена.

Показывая, куда может завести гордость, Достоевский создает теорию Раскольникова о делении человечества на людей низших, или «материал», и высших, имеющих «право на преступление», то есть на убийство низших для высоких и даже высочайших целей человечества. Мы знаем по современности всю страшную живучесть этой теории. Достоевский уводит из нее Раскольникова, смиряя его сначала через Мармеладова-отца, а потом, и окончательно, через его дочь. Вот почему на первых же страницах романа мы слышим в распивочной великий монолог Мармеладова о Страшном суде и о прощении смиренных. «...«Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руке Свои, и мы припадем... и заплачем, и всё поймем!.. Господи, да придет Царствие Твое!» (Там же: 21).

Думаю, что если бы Достоевский ничего не написал больше о Христе, то и этого было бы много. Он написал самое главное и самое непонятное – для неверующих. Проповедь Христова смирения, начатая было, хоть и не вполне осознанно, в «Бедных людях», теперь, через двадцать лет, вдруг обрела полную уверенность, силу и устремленность. И эта проповедь теперь уже не умолкнет вплоть до «смирись, гордый человек» (26: 139) – этого призыва Достоевского на Пушкинском празднике за несколько месяцев до смерти. Евангельские семена детства и юности пошли в рост.

⁸² Фохт Н. К биографии Ф.М. Достоевского //Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 376–379.

Смешно иногда читать, когда ставится такая проблема: откуда идут его взгляды на смирение, на очищение страданием, на любовь – от Руссо, Паскаля, Шатобриана или Диккенса? Они идут от Евангелия, от московского дьякона, учившего его закону Божию в доме Мариинской больницы, от его каторги с русским народом, от духа Христова, которого если кто не имеет, то и не поймет ничего в Христе. А Христос, как сказано, был «кроток и смирен сердцем». Это было ясно Мармеладову-Достоевскому, с каким бы трудом ни давались ему самому эти качества. В том и есть сила и власть Достоевского, что он пишет не как живописец прозы, не как «мастер искусства» за богатым письменным столом, а как созидатель человека, и прежде всего самого себя, как друг, спасающий гибнущую душу, сам во всем пережив и все еще переживая эту нравственную гибель. Анна Григорьевна, его жена по второму браку, пишет, что Федор Михайлович был больной и раздражительный человек. Он кричал на служанку Федосью за плохие сливки и кофе или за то, что в доме нет спичек, а эта Федосья была страшно запуганная женщина, вдова пьяного писаря, без жалости ее колотившего... А ходила она в зеленом драдедамовом платке, том самом, который упоминается как общий платок семьи Мармеладовых. Но эта же Федосья рассказывала Анне Григорьевне, как Федор Михайлович укрывал ночью одеялом ее кашляющих детей⁸³.

Преступник Свидригайлов застреливается, преступник Раскольников идет добровольно на страдание – искупление вины. Существуют два расчета за грех: или прекращение жизни, вернее, продолжение своего преступления в бесконечность, или же временное умирание в искупительном страдании покаянного подвига во имя неумирающей жизни. Второй путь раскрыт в том образе евангельского зерна, который так любил Достоевский и который мы до сих пор видим вырезанным на его могиле: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». В «Братьях Карамазовых» тоже есть кающийся убийца – Михаил, которого Зосима посылает, как Соня Раскольниковыча, сознаться в убийстве, и эти слова Евангелия об умирающем и воскресающем зерне он читает ему в напутствие. Но образ умирания и Воскресения дан в Евангелии еще ярче в воскресении «четырёхдневного» Лазаря, и именно это место читает Соня Раскольникову. Михаил, после признания в убийстве, говорит Зосиме: «Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь... предчувствую Бога, сердце как в раю веселится... Господь мой поборол диавола в моем сердце» (14: 283). Это и есть конец, и именно победоносный, той формулы, которую произносит Митя Карамазов: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (Там же: 100).

В 40-х годах побеждал «двойник» и человек сходил с ума, а теперь душа обретает Рай победы, освобождение от зла. В искусстве Достоевского это «предчувствие Бога» началось с Раскольникова, когда он пришел на Сенную, чтобы стать на колени и принести покаяние земле. «Он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...» (6:405). Это – то, о чем говорил Паскаль: «Благодать есть Бог, ощущаемый сердцем⁸⁴», то, чем живет всякая живая душа, – благодать покаяния. Конечно, не случайно и не как только художественный образ Достоевский дает исповедь Раскольникова как покаяние именно земле. «Поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты перед ней согрешил», – велела ему Соня. «Исповедь земле» существовала как обряд в древности народного христианства, говорит один исследователь⁸⁵. Перед святыней земли исповедовались в самых тяжких преступлениях, которые совесть воспринимала именно как поругание этой материнской святыни. Ведь слова о земле, что она есть «подножие ног Божиих», сказаны Христом. В одном древнерусском духовном стихе говорится:

⁸³ См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 138–139.

⁸⁴ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 68.

⁸⁵ Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 255–283.

*Как расплачется и растужится
Мать сыра земля перед Господом:
«Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,
Тяжелей того людей держать,
Людей грешных, беззаконных...»
Отвечает земле Иисус Христос:
«О матери, ты матери сыра земля...
Делами человеческими оскверненная...»⁸⁶*

В одной молитве, пишет тот же исследователь, которая в Древней Руси читалась над преклоненными до земли молящимися, говорится: «И тебе, земле-матери, согрешил есмь душою и телом⁸⁷». Во Владимирской области был записан древний стих «исповеди земле», которая совершалась перед обыкновенной церковной исповедью⁸⁸. В «исповеди земле» человек мог совершить свое покаяние наиболее открыто, значит, наиболее мужественно и убежденно. Тут несомненно было неосознанное стремление к первохристианской силе покаяния. Ведь известно, что в первых веках исповедание грехов, и именно тяжких, совершалось открыто перед всей Церковью.

На этом, казалось бы, и надо было закончить роман: преступник покался, христианская мораль восторжествовала. Так мог бы закончить роман даже и Диккенс. Но христианский реализм Достоевского не мог совершить такой ошибки. Автор тут же задерживает душевный порыв Раскольникова, затормаживает его новой бурей сомнений насчет предосудительности уничтожить «зловредную вошь» процентщицу, и делает это, конечно, не рассуждениями, а расхолаживающими образами.

«Он встал (с колен) и поклонился в другой раз.

– Ишь нахлестался! – заметил подле него один парень. Раздался смех.

– Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, – прибавил какой-то пьяненький из мещан».

И в полицейской «конторе» Раскольников встал от стола, так и не сделав признания, и пошел домой... «Тут на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся помертвевшая, Соня и дико, дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то большое и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору» (Там же: 409).

Любовь Сони победила: на нем были ее кресты. Или, как Достоевский записал в черновике романа: «Соня и любовь к ней сломали». Но для правды создания образа, для того, чтобы показать, насколько узок, то есть труден, путь христианства, Достоевскому и этого мало. Ведь вся любовь пока что в Соне, а в нем только как бы предчувствие ее. Раскольников идет на признание точно под насилием любви к нему Сони, сестры Дуни и матери: он не выдерживает их сердца и глаз. А какое же покаяние без любви? И вот Достоевский показывает, что и на каторге покаяние не сразу пришло к нему. Только через год. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам...

Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» (6: 421).

Но Достоевский и тут не спешит. Вспомним, что, говоря в «Дневнике писателя» 1873 года об изменении своих убеждений на каторге, он писал: «Это не так скоро произошло, а постепенно» (21:134). Свой опыт возрождения он передает Раскольникову. «Под подушкой его лежало Евангелие...

⁸⁶ Цит. по: С м и р н о в С. Древнерусский духовник. С. 276.

⁸⁷ Там же. С. 277.

⁸⁸ Там же. С. 281.

Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря... До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими?» (6:422).

Вот когда наказание за преступление из непонятого страдания начнет наконец превращаться через живую любовь в подвиг обновления человека.

Во всем замысле и исполнении романа удивителен, конечно, не Раскольников, несмотря на всю правду – и художественную и религиозную – его образа, а Соня. Все величие в романе отдано ей. Она полюбила, но, собственно, кого? Красивого человека или в нем образ Христов? Ведь ради любви к этому образу она не задумалась послать своего жениха на каторгу, то есть, может быть, на вечную с собой разлуку. Выходя из полицейского участка, не сделав признания, он шел прямо к ней, а она своими глазами послала его обратно. Любовь ко Христу, вновь распинаемому грехами людей, оказалась в ней сильнее ее любви к жениху, и в свет этой ее божественной любви вошел «бывший студент» Раскольников. Правда Христова, такая, казалось бы, неподходящая по суровости для романа, дана как самая нужная правда жизни, как то, без чего этой жизни и не может быть. Достоевский объявил своей правдой не вообще религию, не то нечто неопределенно-благородное, что часто выдается за христианство, а только христианство Голгофы. На мировое искусство легла тень от Креста.

«Христианство не поэма, а подвиг», – сказал недавно один русский старец-монах. Благодаря тому что Достоевский не побоялся ввести эту великую мысль в свой роман, пронизал его идеей добровольного страдания для искупления греха, – рамки его человеческой поэмы раздвинулись в бесконечность, и обыкновенный роман XIX века стал духовным событием, стал проповедью христианского подвига, стал точно местом явления Христа в современности.

Само слово «подвиг» произнесено только в самом конце романа (6: 422) – к идее подвига Достоевский подойдет еще ближе, когда будет работать в 1870 году над «Бесами». Но, по существу, именно в «Преступлении и наказании» эта идея уже дана в полной ясности художественного образа. Интересно отметить, что именно этот конец романа Достоевский писал уже в сотрудничестве, и, конечно, в «содружестве» с Анной Григорьевной – своей будущей женой, работавшей у него стенографисткой. Подвиг очищения Достоевского, а не только Раскольникова был связан с верным и любящим женским сердцем. В ноябре-декабре 1866 года Достоевский диктовал ей последнюю часть романа, а в феврале 1867 года они были обвенчаны.

Но одна истина ведет за собой другую, для живущих в Церкви очень важную: Достоевский расширил в нас понимание церковности. В XIX веке многие хорошие церковные люди не представляли себе церковного, то есть не фальшивого восприятия христианства вне привычных для них форм византийской церковности. К. Леонтьев, выступая в печати в 1880 году против Достоевского, мог с неудовольствием писать: «Соня Мармеладова читала только Евангелие. В этом еще мало православного... Молебнов она не служит, духовников и монахов для совета не ищет... отслужила только панихиду по отце... В «Бесах» немного получше. Является перед читателем на площади икона... и только⁸⁹». Не стоит говорить о нелепости требовать от романа какой-то богослужебной энциклопедии. Гораздо важнее другое: искреннее непонимание переживания Церкви сердцем. Такова была эпоха, и нам необходимо осознать прожитый путь. Нужно было пережить эти сто лет, отделяющие нас от романа, нужно было пройти пустыню нашей жизни, часто вне видимого храма и в тоске о нем, чтобы понять, что он – храм и его обряды – всегда с нами, если только мы своим сердцем в нем, если явление Христа Спасителя душе, присутствие Его в ней не богословская или художественная аллегория, а правда.

⁸⁹ Леонтьев К. Н. О всемирной любви: Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1886. Т. 2. С. 295.

В этом – не в «новом» религиозном сознании, а в возвращении нашего сознания к первохристианскому и во все века не умиравшему реальному переживанию веры – нам, конечно, помог Достоевский. Храм, или, как пишет Леонтьев, «молебен», у Достоевского никак не отрицается. Можно было бы успокоить Леонтьева: Соня служит не только панихиду, но и отпеванье и сама надевает на Раскольникова православный крест, ненавистный сектантам. Но стены храма здесь точно раздвинулись, и нерукотворной, то есть единственно вполне надежной – теперь-то мы это хорошо знаем! – «храминой» сделалась в данном случае серая петербургская комната. «Дух дышит, где хочет» и «где двое или трое собраны во имя Его». Мы этого не знали или забыли. Через большие испытания мы вошли в новую церковную эпоху и больше всего боимся не уменьшения или, наоборот, увеличения церковных форм, а того, чтобы не потерять это дыхание Духа, создающего или изменяющего обрядовые формы. Вот почему, может быть, самыми радостными зазвучали для нас эти слова: «Я с вами во все дни, до скончания века», где бы мы ни были: в византийском храме, с его привычными и дорогими для нас обрядами, или в серой коммунальной квартире.

Св. Тихон Задонский, столько давший Достоевскому, пишет: «Можем к Богу приступить с прошением нашим в церкви, в доме, в собрании, на пути, на деле (на работе), на ложе, ходя и сидя, трудясь и почивая, и во всяком времени. Ибо везде и всегда можем ум и сердце к Нему возводить и прошение сердца Ему предлагать... К Богу бо не ногами, но сердцами приступаем⁹⁰».

В последнем романе Достоевского – «Братья Карамазовы» – есть идейный центр, он же и вершина его художественного мастерства, – глава «Кана Галилейская». События главы совершаются в стенах монастыря, ночью, когда, как там сказано, «белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе» (14: 328). Этим видением «победы, победившей мир, веры нашей⁹¹» окончил свой путь Достоевский. Но начал он свое всемирное исповедание христианства тоже с «Каны Галилейской», только уже в гораздо более близкой для нас обстановке: в комнате Сони.

«Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

– Всё об воскресении Лазаря, – отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза... Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением Вечной книги» (6:251–252).

Глава VI. Поиски праведников

В 1876 году Достоевский писал Всеволоду Соловьеву: «Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и благопристойно, доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, например, вдруг: «Вот это-то и есть Мессия», прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово» (29, кн. 2:102).

В XIX веке многие говорили о Боге вполне благопристойно. Написав «Преступление и наказание», Достоевский в наивности сказал о Христе «самое последнее свое слово». Нам было бы достаточно уже и этого: слишком истомилась иссохшая земля по словам такой непосредственной любви и веры. Но Достоевский пошел дальше. Ему надо было показать, что его обретение Христа – это не его только обретение, что Христос есть достояние всех Его любящих и что эти любящие не мечта литератора, а реальность истории, что они живут в ней вот уже скоро 2000 лет, передавая из столетия в столетие неумирающую великую мысль. Ему надо было показать, что святыня Христа сохраняется в тех десяти праведниках или святых, на которых стоит мир. Я умышленно говорю слово

⁹⁰ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 1. С. 140.

⁹¹ Ин. 5, 4.

«святой», хотя знаю, как непонятно и чуждо это звучит. Как однажды сказал Блок: «XIX век заставил нас забыть самые имена святых». Правда, он же добавил: «XX век, быть может, увидит их воочию»⁹².

Святость человека есть обнаружение в нем образа Божия. Из темноты психофизической личности человека начинает проступать светоносный образ Христов. Темнота даже у святейших людей не может до их смерти совершенно исчезнуть, но чем святее человек, тем ее меньше. Поэтому святость не есть полное совершенство, ибо «несть человек, иже жив будет и не согрешит» и «не оправдится пред Тобою всяк живой», а именно (и только) – вытеснение темноты Божественным светом. Как в «Подростке» говорит архимандрит: «И ангелы Божии несовершенны, а совершен и безгрешен токмо один Бог наш Иисус Христос, Ему же ангелы служат» (13: 318). И это проступание света из темноты так для нас невероятно и так победоносно, что только оно и может быть доказательством бытия Божия. Бога доказует не богословская арифметика, а только живое дыхание уст.

Вот почему Достоевский обратился к поискам Его праведников, и верно сказал один современный исследователь, что, собственно, «все романы Достоевского устремлены к образу положительно прекрасного человека»⁹³. Но эти поиски исключительно трудны, а еще труднее было написать о них роман.

В декабре 1867 года Достоевский пишет Майкову об идее «Идиота»: «Идея эта – изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может» (28, кн. 2: 241). Еще яснее он пишет об этом С.А. Ивановой, своей племяннице, которую он как-то назвал «дитя моего сердца» (Там же: 317) и которой в журнальном издании был посвящен «Идиот»: «Недели три тому назад... принялся за другой роман и стал работать и день и ночь. Идея романа – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее... Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели... кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача безмерная... На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерного, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного...) Боюсь страшно, что будет положительная неудача» (Там же: 251).

Теперь понятно, почему «это задача безмерная». Предстояло найти Христова ученика, наиболее приближающегося к своему Учителю, и изобразить его встречу с современным обществом, живущим в петербургских гостиных, с людьми образованными, состоятельными, спокойными, сытыми и довольными собой и при этом еще ежегодно говеющими согласно установленному порядку. То, что святыня Христа предполагает святыню Его учеников, могло быть понятно только для так называемого простого народа или для таких, как Алеша Карамазов. «Для смиренной души русского простолюдина, – читаем мы в «Братьях Карамазовых» размышление Алеши, – измученной трудом и горем, а главное, всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то всё равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле» (14:29).

Но для современного Достоевскому интеллигента допустить возможность святых не в школе на уроке закона Божия, а в действительности XIX столетия означало принять христианство всерьез, а не только как некое красочное и даже, может быть, трогательное дополнение к серьезному государственному делу, как, например, совершение молебна при закладке нового здания Государственного банка. Принимать христианство всерьез могло даже показаться чем-то вроде

⁹² Блок А. А. Рыцарь-монах // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 454.

⁹³ См.: Д о л и н и н А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л., 1963. С. 58–59.

революции. Генерал Епанчин подозревал, что его (православие) не принимают всерьез даже архиереи. В «Дневнике писателя» 1880 года Достоевский писал от лица просвещенной интеллигенции: «Не можем же мы... толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как le Pravoslavii и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный...» (26: 135).

«Мы о вере народа, – писал он в 1876 году, – и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице... Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, – потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих... от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится» (22:113).

О серьезности принятия христианства и опять-таки о нахождении святых – упорная мысль Достоевского – есть такое размышление у Алеши: «Сказано: «Раздай всё и иди за Мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо ‘всего’ два рубля, а вместо ‘иди за Мной’ ходить лишь к обедне...» Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть: всё ли тут или и тут только два рубля, и – в монастыре встретил этого старца...» (14: 25–26).

Эта встреча, мы знаем, проходила среди верных учеников и среди «верующих баб» (14: 43), среди живой соборности Церкви. А пока что, в 1868 году, Достоевский нашел только своего одинокого праведника. И вот удивительно, что, несмотря на некую как бы искусственность этого образа и его изолированность, несмотря даже на некую как бы случайность его создания (автор перечеркал восемь планов, пока наконец нашел искомый образ), – мы чувствуем в нем определенную религиозную правду. Как иначе объяснить то, что в трудных вопросах общения с людьми, не зная, как их (эти вопросы) христиански решить, – мы иногда ловим себя на том, что мысленно спрашиваем: а как бы поступил тут этот убогий князь? Но, по существу, такое вопрошание не так уж и нелепо: через выдуманный персонаж мы спрашиваем у его творца, пытаемся узнать религиозную правду души Достоевского. А этой правде мы стали доверять после «Идиота» еще в большей степени.

Вот как духовную силу Достоевского, вложенную в этот роман, воспринимает современный нам человек: «Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданного «Нивой». Я стал читать этот роман – некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской... Бойко написано... Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки... И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает страница, исчезает книга, исчезает комната – и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке...

Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же, «нивского», издания Достоевского. Страницы были из «Идиота».

Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:

– Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов? Нет! Кто же? – И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны... И вот еще раз оно, в другом месте! Имя, от которого то тут то там вздрагивали строчки!..⁹⁴»

⁹⁴ Олеша Ю. Из записных книжек // Избранные сочинения. М., 1956. С. 489–490.

Почему мы все же несколько не доверяем ослепительно добродетельным героям Диккенса, даже таким, которые принимают священство? Наверное, в Англии такие и были, и есть. Дело не в реальности, а в том, что эта реальность нас не убеждает. Когда у добродетельного человека имеется или может иметься текущий счет в банке, – мы все же про себя усмехаемся. Действительно праведным из героев Диккенса кажется нам какой-нибудь черный от грязи нищий мальчик Джо из «Холодного дома», только за несколько минут до смерти узнавший про существование «Отче наш». Положительные герои Достоевского отличаются не только материальной несостоятельностью, но и жизненной жертвенностью. «В мире скорбни будете» и «внидите узкими вратами» – нет слов в христианстве более для нас трудных, но вот именно какое-то приближение к этим словам праведников Достоевского и делает для нас их праведность убедительной и священной. Мы чувствуем, что уж если быть на земле праведнику, то он должен быть подобен Христу, «не имеющему где главу приклонить». С этого – с нищеты и странничества князя – и начинается роман, а все развитие героя основано на страдании святого сердца, на распятии этим миром человека не от этого мира. Достоевский был воспитан в Русской Церкви и смотрел в корень вещей.

«Целомудрие и смирение» (9:227), – замечает он о князе Мышкине в черновой книжке романа, определяя его сердцевину, и сочетание этих слов не случайно. Целомудрие есть чистота, святость, а смирение, по учению Церкви, – «предтеча любви», ее основание. В характеристике князя Мышкина Достоевский подошел к одной из самых радостных истин христианства – о неразрывности в нем святости и любви. Истинное христианство именно в этом сочетании, и «чем совершеннее любовь, тем святее жизнь», – говорил авва Силуан. «Что есть чистота?» – спрашивал в VI веке св. Исаак Сирий, книга которого была в библиотеке Достоевского, и отвечал: «Сердце, милующее всякую тварь⁹⁵». Так же говорит и подвижник IV века Макарий Великий: «Чистота есть сострадание». А в романе князь Мышкин говорит: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» И в черновой книжке к роману Достоевский записывает: «Сострадание – всё христианство» (9:270)! Тогда и открывается, почему идея святости так затемнена в современности и, с другой стороны, почему она так привлекала Достоевского. Святость или чистота – это не ферапонтовщина, описанная впоследствии Достоевским, а очищение сердца от самости для служения людям, это смиренная, но жертвенная любовь, это не пуританство, а Голгофа. Но тогда тем более страшна встреча князя с обществом: общество не принимает Голгофы.

«Душа Моя скорбит смертельно», – говорит Иисус в Гефсимании; значит, и смертельная скорбь завещана нам Евангелием. Основной факт романа в том, что не какие-нибудь там заблудшие нигилисты, а подавляющее большинство православного русского общества: генералы и генеральши, inferнальные купцы и флигель-адъютанты, барышни и сановники, англomanы и мелкие чиновники – все люди воспитанные, образованные и даже часто приятные – уж настолько потеряли представление о любви христианства и о святости его – о самой сути его, что любящий святой мог быть для них только идиотом или, в лучшем случае, «Иванушкой-дурачком», как было сказано про Мышкина в одной, в общем даже благожелательной, рецензии XIX века⁹⁶.

В одном из писем 1880 года Достоевский писал: «У нас вся народность основана на христианстве... Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника» (30, кн. 1: 236). И вот к этой интеллигенции приезжает князь, чтобы «заставить согласиться», приезжает откуда-то «из иных стран», точно с иных планет, как Маленький принц Экзюпери, ничего не имеющий, с узелком в руках и «в штиблетишках» (8: 96), как язвительно заметил Рогожин. И так он проходит по роману, вызывая удивление и страх, любовь и ненависть, всем, может быть, ужасно близкий и для всех все-таки совершенно чужой. Рогожин меняется с ним крестами и тут же пытается его зарезать. Неверие и

⁹⁵ Исаак Сирий, преп. Слова подвижнические. М., 1858. С. 77.

⁹⁶ См.: Миллер О. Ф. Публичные лекции. СПб., 1878. С. 244–248.

нелюбовь встретили князя. Говоря о вере, Рогожин признается, что она в нем пропадает. «А что, правда... у нас, по России, больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют?» (8: 182) – спрашивает он Мышкина.

Князь рассказывает ему сначала про неверующего ученого, а затем о том, как один крестьянин зарезал другого – своего приятеля – за серебряные часы и перед тем, как резать, перекрестился. «Рогожин покатился со смеху... «Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! – выкрикивал он... – Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве» (8: 183). Достоевский в своей идейной борьбе, завершённой образами Великого инквизитора и Ивана Карамазова, показал, что они оба не веруют. «Иссякает народная сила, – писал он в 1876 году, – гложет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабаки, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабаки отстояли» (22: 29).

И в народе, а не только в интеллигенции видел Достоевский страшные симптомы неверия. Какой же прием мог ожидать роман?

«Всё, что вы вложили в «Идиота», пропало даром⁹⁷», – писал ему Страхов. Даже Майков, единственный близкий человек, не вполне оценил роман. Он пишет Достоевскому: «Ужасно много силы, гениальные молнии (например, когда Идиоту дали пощечину и что он сказал), но во всем действии более возможности и правдоподобия, нежели истины⁹⁸».

Принять истину романа было равносильно тому, чтобы увидеть умирание духовной эпохи, закат христианской цивилизации, несмотря на еще полное ее внешнее благополучие. Ведь на Великий пост прекращались театральные зрелища, а на Пасху чиновники в орденах и при шпагах ездили с праздничными визитами. Видя страшные симптомы и в народе, и в интеллигенции, Достоевский вместе с тем не только в народе, но и среди интеллигенции искал и находил праведников. В феврале 1868 года, то есть как раз во время создания «Идиота», он пишет Майкову про священника И.Л. Янышева: «Это редкое существо: достойное, смиренное, с чувством собственного достоинства, с ангельской чистотой сердца и страстно верующее» (28, кн. 2: 259). Достоевский знал его еще с 1865 года, познакомившись в Висбадене, где Янышев помог ему денежно в тяжелую минуту. «Разве могу я забыть, – писал ему тогда Достоевский, – когда-нибудь, как много помогли Вы мне в минуту тяжелой тоски моей и уныния – Вы, чужой мне, во имя Того, Кто Вас послал!» (Там же: 144). Интересно отметить, что И.Л. Янышев принимал участие в похоронах Достоевского (в качестве ректора Петербургской (духовной) академии) и сказал над его гробом прощальное слово.

У Достоевского было на кого опереться, кроме Шидловского, для создания образа светского праведника, но в то же время единичность в обществе таких людей не могла не наложить отпечаток на создание этого образа. Он принял черты полного одиночества, великой оставленности. В скорби столкновения с миром дан образ князя Мышкина, и, может быть, ни в какой другой роман Достоевский не вложил столько своей неисцельной печали о человеке и мире. Роман Достоевского «Идиот» – это книга слез о мире, отрекающемся от Христа. «Вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного». Князь только символ, но в христианстве оживают и символы, и через страдания изображенной души мы видим то, что совершается в истории. Про этот роман можно повторить слова, сказанные Достоевским в 1877 году о «Дон Кихоте»: «Это книга великая, не такая, какие теперь пишут... Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий» (26: 25).

⁹⁷ См.: Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 271.

⁹⁸ См.: Достоевский Ф. М. Письма / Под ред. А.С. Долинина. М.; Л., 1939. Т. 2. С. 419.

Скорбь проходит через весь роман. Но ведь слова Евангелия «в мире скорбни будете» заканчиваются не нирваной отчаяния или равнодушия к людям, а, наоборот, величайшим призывом к действию: «Но дерзайте, ибо Я победил мир». И герой романа дан тоже в непрестанном действии, в дерзновенном утверждении возможности спасения людей. Достоевский понимал, что вся борьба христианина за Святую Землю человечества заключается в том, чтобы не потерять веры не только в Бога, но и в человека, чтобы, несмотря на всю его темноту, всегда видеть в нем какой-то луч образа Божия. Это, как сказано в черновике романа, «теория практического христианства» (9: 268).

«Разве не способен к свету Рогожин?» (8: 191), – спрашивает себя князь, и верит, что способен. Эта вера в человека утверждает дело Божие на земле, труд Его на ней и кровь Его, не напрасно за людей пролитую. «Радость Бога на человека, как отца на свое родное дитя, – главнейшая мысль Христова» (Там же: 184), – говорит князь и рассказывает Рогожину о своей встрече с бабой, несущей улыбающегося ей ребенка. «Смотрю, – говорит князь, – она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. «Что ты, говорю, молодка?» – «А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку приметит, такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего сердца на молитву становится» (Там же: 183–184). И князь верит, а вслед за ним и мы, что это «вставание грешников на молитву», это покаяние возможно с каждым, кто его окружает: и с Рогожиным, и со старухой Белоконской, и с умирающим нигилистом. Все несут в себе образ Божий, хоть и затемненный, хоть даже и осмеянный. В черновике к роману есть запись: «Князь говорит про людей грешных: «все больные, за ними уход нужен» (9:221), то есть прежде всего опять-таки сострадание. «Христиане, – говорит Макарий Великий, – не должны никого осуждать, ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных, но взирать на всех с простодушием и чистым оком. В том и состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь к ним сострадание». Иногда кажется, что образ князя, с его простодушием и чистым оком, написан под влиянием именно этих слов подвижника IV века.

Князь верит в людей несмотря на то, что хорошо их видит. Достоевский создает его не близоруким, а чистым, то есть имеющим «милующее сердце». И в романе показана вся власть такого сердца. Вот он пришел в первый раз к генералу Епанчину. Генерал собирается его выгнать и не очень скрывает это (у него в голове жемчуга для Настасьи Филипповны), но, как сказано в романе, «взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя» (8:23). И то же совершается хоть на минуту с другими. «Ипполит у князя руку вчера схватил и два раза поцеловал, – крикнул Коля» (Там же: 281). (Коля рядом с Алешей Карамазовым и Коля рядом с князем.) «Я слишком убедился, что вы, милостивый государь, может быть, лучше других» (Там же: 266), – пишет ему нигилист Бурдовский.

Христово предсказание имеет две части: не только «если Меня гнали, и вас будут гнать», но и «если Мое слово соблюдали, и ваше соблюдут». Вера Достоевского в людей заставляла их, иногда точно против их воли, поглядеть на мир другими глазами. Его современница, О. Починковская, пишет: «...он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. И это было такое могучее, радостное чувство подъема и веры в себя и в людей и благословения – этой трудной, тяжелой, но истинно человеческой жизни!..⁹⁹»

В связи с этой верой Достоевского в людей можно отметить один факт: в его больших романах есть очень много преступников, но, пожалуй, в них нет ни одного совершенно отрицательного типа, вроде чудовища Квилпа из «Лавки древностей» Диккенса. Достоевский до последней минуты старается найти в преступниках возможность спасения. Может быть, для этого он использует один свой любимый литературный прием: отдает этим персонажам некоторые свои заветные мысли. Даже

⁹⁹ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 160.

какой-нибудь губернатор фон Лембке в «Бесах» говорит (в сцене городского пожара): «Пожар в умах, а не на крышах домов» (10: 395). Даже отвратительный Фома Опискин однажды высказал любимую идею Достоевского: «Если хочешь победить весь мир – победи себя!» (3: 137). «Лебедев – гениальная фигура» (9: 252), – замечает Достоевский в черновике романа об этом скверном интригане и ростовщике. И вдруг действительно оказывается, что эта фигура в чем-то предваряет старца Зосиму. В «Карамазовых» Зосима учит молиться за всех умерших людей, то есть и за всех совершенно не известных молящемуся. «Сколь умилительно душе его (умершего. – С.Ф.), – говорит он, – ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молещик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее» (14: 289). А в «Идиоте» племянник Лебедева смеется над ним за то, что тот по ночам молится за вспоминаемую только в старых французских мемуарах казненную графиню Дюбарри. «И что тебе в том, червяк, – говорит племяннику Лебедев, – что я, ложась на ночь спать, на молитве вздумал ее, грешницу великую, помянуть... Да я и за тебя, и за таких же, как ты, тебе подобных, нахалов и обидчиков, тогда же молился, если уж взялся подслушивать, как я молюсь...» (8: 164–165). Так стерлась грань между Зосимой и Лебедевым: Достоевский все надеется, что и Лебедев, и Рогожин, и даже, может быть, генерал Епанчин станут когда-нибудь Зосимой.

«При полном реализме найти в человеке человека» (27: 65), – записывает Достоевский в записную книжку. Вера в человека есть, конечно, любовь к человеку. Князь «действует по чувству непосредственной христианской любви» (9: 120), – говорит Достоевский в черновике романа. А «любовь... все покрывает, всему верит, всего надеется», – сказано нам. И она «не ищет своего», потому что ни во что себя не ставит, потому что всегда рождается в смирении. В этом и вся радость любви, и вся сила смирения. Чернышевский, говоря о литературном облике писательницы Кохановской, очень удачно сказал о ее «смирении, возведенном на степень деятельной силы». Именно так воспринимает смирение Достоевский. В нем же, в смирении, и тот признак, по которому христиане определяют истинность любви. «Смирение любовное, – говорит Зосима, премудро соединяя эти два слова, – страшная сила» (14:289). Буквально то же самое говорит умирающий Ипполит: «Говорят, смирение есть страшная сила; надо справиться об этом у князя, это его собственное выражение» (8: 329). В письме Шидловского к М. М. Достоевскому от 17 января 1839 года есть фраза: «Сердце мое начало нагреваться более и более теплом веры и смирения¹⁰⁰». Сердце, пребывающее в тепле веры и смирения, и есть та «страшная сила», о которой говорит Достоевский.

Это, кстати, может служить и примером непрерывности христианского миропонимания Достоевского после 1865 года: Ипполит говорит о смирении в 1868 году, Зосима – в 1879-м. О молитве за неизвестных людей Достоевский одинаково говорит в 1868 году в «Идиоте», в 1875 году в «Подростке» и в 1879-м – в «Карамазовых». Уроки детства и Шидловского не были напрасны.

Про князя в романе сказано: «Он искренно готов был считать себя, из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении» (9:214). Нам понятно, что, наделив его именно этим качеством, автор имел и религиозное, и художественное право сделать его действительно счастливым: «блаженны нищие духом». И в этом он тоже предваряет Зосиму. «О, что такое мое горе и моя беда, – говорит князь на блестящем вечере у Епанчиных, – если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его... Сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных... Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят» (8: 459). А в черновике романа об этом сказано еще дерзновеннее: «Всякая травка, всякий шаг, Христос... да здравствует жизнь!» (9: 277).

Истинно сказано, что «счастье есть сокровище смиренных», но, конечно, именно смирение приводит князя на его Голгофу. Общество могло иногда преклониться перед его разумом, но смирение

¹⁰⁰ Цит. по: Алексеев М. П. Ранний друг Ф.М. Достоевского. С. 12.

в обществе никогда не прощается. «Хоть вы и в самом деле больны умом, – говорит Аглая, – зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и не главный» (8: 356). «Князь прекрасно говорит, только немного грустно» (Там же: 54), – замечает генеральша Епанчина. Разум князя изображен в романе как духовно просвещенная и сердечная мудрость. «Под просвещением я разумею, – писал Достоевский в 1880 году, – свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни» (26: 150). «Здесь все, все не стоят вашего мизинца, – говорит Аглая, – ни ума, ни сердца вашего! Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех!.. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех?.. Зачем в вас гордости нет?» (8: 283).

Тут два мира, два сознания, и именно на этом острие они всегда разделялись и будут разделяться. Экзюпери – наш современник, но у него есть слова, точно взятые у Достоевского: «Смирение – это не уничижение, а метод действия». Именно этим «методом», этим путем шла русская мысль Достоевского. А «русская мысль... плотно спаяна с православием» (28, кн. 2: 260), – писал он Майкову в феврале 1868 года, то есть когда как раз создавался «Идиот». Смирение князя обнаруживает, что его нельзя сделать таким, как все, вполне своим и обычным, например флигель-адъютантом и мужем Аглаи. И тогда против него поднимаются буря и смерть.

В судьбе князя, а значит, и в миропонимании автора отразилась неумолимая судьба христианства: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее». Уж если детей от родителей может разделить острие христианских идей и заповедей, то что говорить об обществе и истории? Это разделение совершается с того самого времени, когда «венеч от терния возложиша на главу Его, и трость в десницу Его». И Христос молчал, и апостол писал: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Но в ответ на всю тишину христианства с самого начала его поднялась буря разделения и жила все эти века, совершаясь в семье, в обществе, в государстве, то утихая, то вновь разгораясь, с тем чтобы к концу истории уже окончательно разделить мир. И как же наивны, а может быть, и лукавы те религиозные деятели, которые хотели бы сделать картонный меч из страшного меча христианства и из его цельного вина – валериановые капли.

Пришел князь с тишайшей своей душой, и все кругом заволновалось, все углы обострились, все язвы обнаружились. Достоевский знал единственную трагическую дорогу христианства и никогда не мог бы смешать с ним нравоучительную его фальсификацию.

«Протестантские секты... уж и теперь почти все склонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм» (22: 34–35), – писал он в «Дневнике писателя» 1876 года. Уже в 1877 году он начал с подозрением всматриваться в идеи Толстого. «Такие люди, как автор «Анны Карениной», – суть учителя общества... Чему ж они нас учат?» (25: 223) – писал он в «Дневнике писателя». Когда в 1880 году создавался «Великий инквизитор» – его обвинение папства, можно было бы ожидать от него хоть какого-нибудь крена в протестантизм или в иной вид рационалистической и, конечно, «гуманной» религиозности. Даже такой православный человек, как Хомяков, полемически отталкиваясь от Рима, давал иногда повод для подозрений в протестантском уклоне. А Достоевский как раз в 1880 году пишет: «Протестантизм исполинскими шагами переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение» (26: 151). И трагизм христианства решил судьбу романа: окончиться нравоучением он не мог – сердце, пожалевшее сумасшедшую Настасью Филипповну и отказавшееся от личного счастья с Аглаей, должно было идти на Голгофу.

Жертвенность князя есть, по Достоевскому, и, конечно, по Евангелию, не только отказ от своей личности, но, наоборот, ее высшее проявление. Еще в начале 60-х годов, в «Зимних заметках о летних впечатлениях», Достоевский писал: «Совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности,

высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли... Пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность... уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности... как отдать ее всю всем» (5: 79). Но в 1862–1863 годах, когда писались эти строки, Достоевский излагал как бы только теорию жертвенности, а теперь он открывает ее действительность, ее невероятную боль.

«Мы знаем, что, чем больше любовь, тем больше страданий душе», – говорил авва Силуан. Достоевский показывает не только полное отвержение князя всеми, но и горчайшее чувство в нем самом – что он ничего для всех этих людей так и не смог сделать, что все его дело – неудача. Вот где самое страшное в Голгофе: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?»

«Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечною тоской. Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слышал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них...» (8:506–507).

Про смерть Дон Кихота Достоевский в 1877 году писал, что он умер, «любя весь мир всюю великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать» (26: 26). Жаль, что не этими словами окончен роман.

В феврале 1869 года Достоевский писал Страхову: «В романе много написано наскоро, много растянуто... Я не за роман, а за идею мою стою» (29, кн. 1:19). О том же он говорит в письме к С.А. Ивановой в январе 1869 года: «Романом я не доволен; он не выразил и 10-й доли того, что я хотел выразить, хотя все-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор» (29, кн. 1: 10). Может быть, и правда в романе есть какая-то неудача. Иногда действительно кажется, что не только все оставили князя, но что его оставил и сам автор¹⁰¹.

Старец Зосима, умирая, знал, что его дело передано Алеше, а около Алешки уже стояли верные мальчишки. Рядом с Раскольниковым была Соня. Около умирающего странника Макара в «Подростке» был любящий Аркадий, которому он передавал свое духовное наследство. Почему же ни одна теплая рука не легла на голову князя, когда он, после убийства Настасьи Филипповны, лежал около Рогожина? Почему так страшно подчеркнуто его сиротство? Где его мать? Где Церковь? Мы не чувствуем Церкви в романе, точно христианство Достоевского уже с Голгофой, но еще без Воскресения.

Может быть, эти вопросы и законны, но, с другой стороны, не слишком ли много вопросов? Разве литературное произведение – простой «роман» – не имеет права быть как бы несколько ограниченным, «глуповатым», по выражению Пушкина, открывающим ясно только одну какую-нибудь наиболее полюбившуюся автору сторону дела? Этого Достоевский достиг вполне, и за это мы тоже «любим его неудавшуюся мысль до сих пор». «В наш железный век» он показал нам святое сердце, «милующее о всякой твари». Это так невероятно для нашего страшного мира и так нужно для каждого, кто хотел бы хоть когда-нибудь уйти от своих «двух рублей» и полностью отдаться вере; это так хорошо, что и гибель этого бедного, молчаливого и простого человека, его безрадостная оставленность – уже почти не воспринимаются нами как гибель и смерть. Ведь истинная смерть, как все время напоминает нам всей своей идейной борьбой Достоевский, – это только смерть в грехе, отлучающем нас от любви и жизни. А этой смерти князь избежал, и на его могиле можно было бы написать эпитафию одного мудреца и тоже странника XVIII века: «Мир ловил меня, но не поймал». А

¹⁰¹ Эта оставленность автором вся как бы на виду в возврате болезни с безнадежным диагнозом. Горький записал одну не лишенную правды мысль Толстого об этой книге: «Главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпилептик. Будь он здоров, его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости» (Горький М. Лев Толстой // Литературные портреты. М., 1959. С. 113).

еще лучше про него, уже после его гибели, сказал Лебедев, то есть, может быть, отчасти сам автор: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам, я это говорил и прежде про него, но теперь прибавляю, что и самого младенца Бог сохранил, спас от бездны, Он и все святые Его!» (8:494).

Исаак Сириин пишет: «Бывает смирение от страха Божия и бывает смирение из любви к Богу: иной смиряется по страху Божию, другой от радости... Смирение по радости сопровождается великая простота, сердце возрастающее и неудержимое¹⁰²». Не это ли «неудержимое сердце» хотел изобразить своими слабыми средствами Достоевский в «неудавшемся романе»?

Глава VII. Праведники Церкви

Приближаясь к Достоевскому, мы входим в самую гущу христианских идей. Я не знаю, многое ли в идейном богатстве Церкви не нашло положительного отклика в его больших романах или в тех материалах к ним, в которых иногда даже больше, чем в самих романах, отразилась духовная жизнь автора. Это в особенности относится к «Бесам».

В апреле 1867 года Достоевский уехал за границу, где пробыл до июля 1871 года и где были написаны «Идиот» и «Бесы». Страхов пишет: «За четыре с лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границей... совершилось особенно раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем... Когда Федор Михайлович вернулся... он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы... Даже черты лица его носили след этого настроения¹⁰³». Черты его лица этого времени (1872 год) отражены на портрете работы Перова. Свидетельства Страхова было бы недостаточно, так как, по замечанию такого знающего Страхова и проницательного современника, как К.Н. Леонтьев, это был «фальшивый» человек. Так же или еще хуже о Страхове думал Вл. Соловьев.

Но свидетельство Страхова подтверждается А.Г. Достоевской. Ее «Воспоминания» полны свидетельств обо всех отрицательных сторонах Достоевского: о необузданности его как игрока в рулетку, о крайней его мнительности и раздражительности, даже жестокости в минуту раздражения, о его обидчивости и в то же время невнимании к женщине, беременной первым ребенком. Читая ее «Воспоминания» (а также «Дневник»), можно действительно подумать, что Достоевский никогда никого не любил, если он был способен доходить до крайнего раздражения на прислугу из-за какой-нибудь разбитой чашки, остывшего кофе или потерянного жениного шиньона. Вспоминая уже не заграничные годы, а более поздние, Анна Григорьевна по поводу одной его вспышки ревности пишет: «Я дала себе слово никогда в жизни не шутить с ним в таком роде, узнав по опыту, до какого бешеного, почти невменяемого состояния способен в эти минуты ревности доходить мой дорогой муж¹⁰⁴». Поэтому мы можем ей верить, когда она пишет об итогах четырехлетнего пребывания за границей: «Несмотря на бесчисленные заботы и всегдашние денежные недостатки и иногда угнетающую скуку, столь продолжительная уединенная жизнь имела плодотворное влияние на проявление и развитие в моем муже всегда бывших в нем христианских мыслей и чувств. Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли¹⁰⁵».

Во время четырехлетней жизни за границей у Достоевского была, среди других книг, книга инок Парфения, изданная в Москве в 1856 году, о его странствиях по монастырям Молдавии, Востока и России¹⁰⁶. Достоевский многократно упоминает ее в письмах и в черновых тетрадах к «Бесам».

¹⁰² Исаак Сириин, преп. Слова подвижнические. СПб., 1911. С. 421.

¹⁰³ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 294–295.

¹⁰⁴ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 318.

¹⁰⁵ Там же. С. 222.

¹⁰⁶ Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святыя горы Афонския инок Парфения. Ч. I-IV. М., 1856.

Вхождение этой книги в орбиту духовной жизни Достоевского – факт знаменательный: она открыла ему дверь в ту «Церковь невидимого Града», в тот мир восточных подвижников и святых, все еще живших в XIX веке, верить в который и искать который он научился еще в детстве. Современник этой книги, Н. Гиляров-Платонов, человек, близкий к славянофилам, а значит, и к Достоевскому, так писал в 1856 году о том мире, который открыла ему книга: «Мы потеряли понятие о той области жизни, в которой бы вся деятельность служила верным отражением чувства, в которой бы чувство было неизменно покорно нашему образу мыслей и в которой образ мыслей всецело проникнут был бы одною истиной, свято признаваемой... Здесь в этой книге вы встретите людей именно с тою не существующею для нас цельностью жизни, для которых служение истине есть всё бытие... ее (истину. – С.Ф.) ищут со всею мучительностью ничем не утолимой жажды... приняли и служат ей всеми своими силами, сообразуя с ней всё в себе, до глубочайшего изгиба души, до последнего из ее проявлений... вас поражает самая наружность их (этих людей. – С. Ф.), иногда передаваемая в книге¹⁰⁷».

Книга Парфения открывала Достоевскому мир людей, принявших христианство и Церковь не как приятную внешность и не как вековой рефлекс или мертвое предание, но как живое, радостное, хоть и очень трудное творчество. Кроме того, книга открывала живую современность Достоевского: события и люди ее относятся к 30–40-м годам XIX века. Об одном «русском князе С.», приехавшем на богомолье в Палестину в 1843 году, Парфений пишет: «Воистину он приходил в Иерусалим ради Бога: хоть и великое лицо, но во всем подражал смирению Иисуса Христа и был здесь, точно агнец, незлобив, не отверзая много уст своих, но только своими слезами омывал святые места. Хоть и молодой человек, но разум его сединами украшен¹⁰⁸». «Вы умнее всех» (8: 283), – говорила Аглая своему смиренному князю.

Вот рассказ, такой необычный для понятия синодальной табели о рангах, как Константинопольский патриарх не решился отменить послушание, наложенное на Парфения, вопреки его воле, простым старцем: оставить любимый Афон и идти в далекую Россию. Достоевского поражает это место, и он помещает рассказ Парфения, не называя его по имени, в первой книге «Братьев Карамазовых» (Глава 5: Старцы). Вот рассказ о посещении Парфением в 1842 году в Москве юродивого Ивана Яковлевича. Отсюда Достоевский для сцены с юродивым Семеном Яковлевичем в «Бесах» берет эпизод с сахаром и из этой же первой части книги Парфения – эпизод со златницей. Имя Алеши – Алексея носил в миру старец Арсений – одна из светлейших фигур и Афона этих лет, и книги Парфения. Он ушел в монастырь двадцати лет. А его ученик Николай был тем «иноком Николаем с даром слезным», о котором Достоевский вспоминает в черновых тетрадях к «Бесам».

В шестой книге «Братьев Карамазовых» есть рассказ о смерти Зосимы: он умер, «распростирая свои руки» и «как бы в радостном восторге» (14: 294). Людям, не знающим праведников Церкви, это могло показаться поэтической выдумкой литератора или каким-то «неохристианством», но, оказывается, и тот и другой признаки смертного часа Зосимы взяты от Парфения. Николай «с даром слезным» умирал в 1841 году: умирая, он «сел на постели своей, и начало лицо его изменяться и играть румянец, и он, возведя очи свои к небу, стал яко в исступлении». В 1846 году, когда Достоевский терзался среди своих «двойников» и сумасшедших, в великом покое умирал Арсений. «Кто-то спросил его: «Отче, не боишься ли смертного часа, не ужасаешься ли?» Он же весело на него посмотрел и сказал: «Страха и ужаса не имею, но некая радость наполняет мое сердце, и великую имею надежду на Господа Бога моего...» Потом всем велел от себя отдалиться... Он начал молиться, но не могли расслышать, что он говорил. Поднимал трижды руки к небу; потом опустил их и затих. Тогда подошли и увидели, что он скончался¹⁰⁹».

¹⁰⁷ Русская беседа. 1856. № 3. С. 5, 6–7.

¹⁰⁸ Сказание о странствии и путешествии... Ч. IV. С. 75.

¹⁰⁹ Там же. С. 228–230.

Про этих двух монахов Парфений рассказывает, как они в течение десятилетий совершали вдвоем литургию в своей пустынной лесной церковке. «Мне случалось, – пишет Парфений, – взойти в притвор и слушать их литургию и пение, слезами растворенное. Вижу двух старцев... один в алтаре (Арсений) пред престолом Господним стоит и плачет и от слез не может возгласов произносить, токмо единими сердечными вздыханьями тихо произносит, а другой на клиросе... Здесь «трисвятую песнь» припевали, ни единого житейского попечения не имущи и воистину «ничтоже земное помышляюще»; здесь посреди двоицы Сам Господь пребывал». Про Арсения же читаем, что когда он служил литургию, то «всех приводил в удивление, ибо лицо его бывало яко огненное». О другом встреченном им иеромонахе – Аниките, из рода князей Шихматовых – Парфений записал: «Служил он литургию более трех часов, со слезами и неизреченным восторгом». «Ненасытимо люби, всех люби, всё люби, ищи восторга и исступления сего» (14:292), – учил Зосима в «Братьях Карамазовых».

Ни «восторга», ни «исступления» не придумывал Достоевский, так же как не придумывал радостных слез Зосимы, Хромоножки или Алеши. «Омочи землю слезами радости твоя», – учил Зосима (Там же). Парфений пишет о разных монахах: «Иные плачут... о всем мире, чтобы всему миру простил Господь грехи. Другие получили дар радостных слез и всегда плачут от радости, что много любят Господа своего». Слезы скорби о человечестве и слезы радости в книге Парфения рядом, и как раз такими – совместными – они были нужны Достоевскому. Про Арсения и Николая Парфений пишет: «Они всякого ближнего любили больше, нежели себя. Кто бы к ним ни пришел с какою нуждою, они никого из келии своей не выпускали скорбящим. Кто телесныя ради потребности скорбел, того они награждали хотя бы и сверх сил их: последние свои книги отдавали в залог». Но такими же были и множество других. «Один работающий Господу Богу верою и любовью может умолить за тысячу (людей), а ежели два, то за тьму. Но я, недостойный, сподобился видеть в монастыре Секуле (в Молдавии. – С.Ф.) сотни таких. Воистину они могут упросить Господа Бога за весь мир».

В «Бесах» Достоевский будет неоднократно говорить о поразивших его словах Откровения о людях и Церкви холодеющей веры: «Ты ни холоден, ни горяч... извергну тебя из уст Моих» (10:497). Парфений мог навести его и на эти слова. Один старец, который был лицом «светел и весел», говорил Парфению о природе горячей веры, которая «трусами и подвигами, постом и молитвою стяжевается... Аще не стяжеша такой веры, то не можешь стяжать и надежды на Бога и любви к Богу и к ближнему... А тогда как бы не постигла нас страшная угроза» (об «извержении из уст»).

Людьми истинной веры предстали перед Достоевским не одни монахи. В Киево-Печерской лавре Парфений встретил в 1837 году простую женщину, которая рассказала ему про себя: «Иногда плачу я многие дни о том, что не могу любить Господа моего Иисуса Христа, как должно мне Его любить... А иногда плачу о всем мире, а наипаче о грешниках». Эта женщина могла быть прообразом Марьи Тимофеевны. Живые люди Парфения воплощали лучшие идеи Достоевского и в то же самое время пребывали в Церкви. Бытие действительно Святой Церкви в истории теперь совершалось осязательно, и вместе с тем становилось до очевидности ясно, что принадлежность к этой Святой Церкви определяется не саном, не званием и не внешним благочестием, но только подвигом веры и любви. Или как записал Парфений слова Иоанна Златоуста: «Церковь – это не стены и крыша, но вера и житие».

Достоевский окончил жизнь над «Карамазовыми» – этим романом о Церкви. В книге Парфения несколько десятков страниц отведено апологии Церкви. «Вельми бо Церковь Богу возлюблена есть, – выписывает Парфений из Златоуста. – Не сия, иже стенами ограждена, но сия, иже верою ограждена. Церкви бо ради пропято небо, пролияно море, простерт воздух, основана земля... Церкви ради Сын Божий – человек бысть». «Не небесе ради распялся Христос, – добавляет Парфений из другого источника, – но Церкви ради». Святая Церковь как святыня и любовь человечества – вот что, и живыми людьми, и учением святых, давала эта книга Достоевскому, готовящемуся создавать образы старца Тихона, Хромоножки, Макара, Зосимы и Алеши. Одной из черт, характерных для Достоевского, было

восприятие им своей задачи в искусстве как пророчески религиозного служения, как посева истины, добра и красоты в людях. Поэтому точно специально для укрепления именно этой черты в книге Парфения из всех возможных наставлений преподобного Серафима (Парфений и его лично видел) помещено только одно: «Сей, всюду сей данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камени, сей при пути, сей и в тернии: всё где-нибудь да прозябнет и возрастет и плод принесет, хоть и не скоро. А данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязан будеши от своего Господина».

Чтение книги Парфения не было для Достоевского изолированным или случайным любопытством: оно было одним из звеньев религиозного познания. «Постоянным чтением его, – пишет Страхов об этих же заграничных годах, – было Евангелие; он читал его по той самой книге, которую имел в каторге и с которой никогда не расставался¹¹⁰». Свидетельство Страхова подтверждается тем, что и романы Достоевского, и особенно черновики к ним, имеют очень много евангельских и апокалипсических текстов. Эти тексты даются не в традиционных цитатах, как бы нарочито отысканных, а точно вплетенными органически в текст романа и составляющими с ним единую ткань.

«Сим покиванием глав, – говорит Мармеладов, рассказывая Раскольникову о Соне, – не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным... Пусть! пусть! «Се человек!» (б: 14).

«Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort, два миллиона голов!»

По делам их вы узнаете их – это сказано!« (8: 451) – читаем в «Идиоте».

«- Не лучше ли завтра? – робко перебил князь.

– Завтра «времени больше не будет!» – истерически усмехнулся Ипполит» (Там же: 318).

«От сих кротких и жаждущих уединенной молитвы, – говорит старец Зосима о монашествующих, – выйдет, может быть, еще раз спасение Земли Русской! Ибо воистину приготовлены в тишине «на день и час, и месяц и год» (14: 284).

Но это, конечно, не только стилистическая особенность текста. Достоевский воспринимал христианство не отвлеченно и не книжно, а органически, не как кодекс моральных правил, а как свет Христов, постепенно вплетающийся в темную ткань жизни, как вплетались в его текст слова апостолов, и делающий эту жизнь светоносной. Этот путь преобразования жизни достигается в христианстве подвигом веры. «Подвизайся добрым подвигом веры», – завещал нам апостол.

С одним подвижником веры и в то же время учителем подвига мы входим в непосредственное общение через материалы к «Бесам». Отсылая в редакцию «Русского вестника» первую часть романа, Достоевский писал Каткову в октябре 1870 года: «Не все будут мрачные лица; будут и светлые... В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже Святитель, живущий на спокойе в монастыре... В этом мире я кое-что знаю» (29, кн. 1: 142). За полгода перед этим, работая над планом неосуществленного романа «Житие великого грешника», он писал Майкову: «Хочу выставить... главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокойе... Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и всё лицо Тихона)... Монастырь русский знаю с детства... Главное – Тихон и мальчик... Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы... Может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша

¹¹⁰ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 298.

литература... Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом» (Там же: 118).

«Житие великого грешника» написано не было, но образ Тихона перешел в «Бесы», и хотя три главы, связанные с ним, были отвергнуты журнальной цензурой Каткова, но нам все же остался портрет святого епископа, сделанный рукой великого писателя. Эти главы, впервые напечатанные вместе в 1922 году, составляют, как верно указал А.С. Долинин, «композиционную вершину романа¹¹¹», не включенную в роман. После изъятия их роман оказался без главного положительного лица. Подразумеваемое положительное лицо – русский человек или Россия, из которой вышли бесы безбожия, – оказалось после этого недоказанной символикой.

Кто же этот «действительный Тихон», которого Достоевский «принял в свое сердце давно с восторгом»? Пожалуй, мы знаем о нем столько же, сколько Ставрогин. От Тихона в тексте самого романа остался только обрывок ночного диалога,

«Слушайте, сходите к Тихону», – говорит Ставрогину Шатов, провожая его на лестнице со свечкой в руке.

– К кому?

– К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь в городе...

– Это что же такое?

– Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?

– В первый раз слышу и... никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу» (10: 203).

Шатов эту часть разговора ведет как будто уже спокойно: все уже было выговорено или выкричано им до этого, в его тоске о потере веры Ставрогиним. «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий!» (10: 195) – кричал он ему, стараясь прорваться через холод неверия к еще, может быть, живому сердцу. Тут проводы любимого человека, уходящего в ночь безбожия, тут проводы Достоевским его мечты о христианской России. Но все-таки: «Сходите к Тихону». Какая любовь и такая тревога! В Евангелии от Фомы, древнем христианском памятнике, говорится: «Иисус сказал: пусть тот, кто ищет, не перестанет искать... и когда он найдет, он будет потрясен». Это очень применимо к не перестающему искать и всегда обеспокоенному Достоевскому-Шатову. Причина тревоги ясна. В записных тетрадах к «Бесам» есть запись основной идеи романа: «Христианство одно только заключает в себе живую воду и может привести человека на живые источники вод и спасти его от разложения. Без христианства же человечество разложится и сгинет» (11: 182). И в другом месте: «Если же бы пошатнулась в народе вера и православие, то он тотчас же бы начал разлагаться» (Там же: 178). Конечно, можно сказать, что это основная идея не только этого романа, но и всего Достоевского. «Христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех ее зол» (30, кн. 1:68), – писал он Н.А. Любимову в июне 1879 года. Перед ним всегда было это видение умирания великой христианской цивилизации, и всегда он в страшной тревоге об этом говорил. Тревога любви вела его на путь глубочайшего нравственного обличительства, а предметом обличения были прежде всего отцы как источник разложения детей, и в «Бесах» это особенно показано. В записных тетрадах к роману есть такая запись: «Ставрогин: я прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы... мы главная гниль, на нас главное проклятие и из нас всё произошло»

¹¹¹ См. об этом: Долинин А. С. «Исповедь Ставрогина»: В связи с композицией «Бесов» // Литературная мысль. Пг., 1922. Вып. 1. С. 139–162.

(11:126). То же в записной книжке последних лет: «Откуда взялись нигилисты? Да они ниоткуда и не взялись, а всё были с нами, в нас и при нас» (27: 54).

У апостола о передаче духовного богатства говорится так: «Не дети должны собирать наследство для родителей, а родители для детей». А какое наследство передали современные Достоевскому отцы своим детям, рассказывается в главе «У Тихона». Выслушав страшную исповедь Ставрогина, Тихон говорит ему: «Многие грешат тем же, но живут со своею совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир» (11: 25).

Мир образованных классов не был миром разбойников из Мертвого дома, совершающих преступление, но способных на покаяние. Старцы жили со своей совестью в мире, и для Достоевского это было нестерпимее всего. В «Дневнике писателя» 1877 года он писал: «Мне действительно, кажется, иногда удавалось, в моих романах и повестях, обличать иных людей, считающих себя здоровыми, и доказать им, что они больны. Знаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей нормальности» (26: 107). О том, как он, наоборот, ценил духовное беспокойство, говорит письмо Н.Л. Озмидову от февраля 1878 года: «Если б его (бессмертия души. – С.Ф.) не было, то стали ли бы Вы сами-то, Николай Лукич, о нем беспокоиться, письма писать, искать его?.. Крепко жму Вам руку и прощаюсь с Вами. Не оставляйте Вашего беспокойства, ищите и, может быть, найдете» (30, кн. 1:11).

Все чувство человека и вся воля писателя толкали Достоевского на путь обличительства, но ведь он был не Щедрин, его сердце искало смирения и евангельских чувств. Тут могло возникнуть тяжелое противоречие. И вот можно себе представить, что он действительно «принял в свое сердце давно с восторгом» (29, кн. 1:118) того человека, который ему показал, что никакого противоречия здесь быть не может, что он, сохраняя все свое христианское сердце, может и должен в своем творчестве обличать разложение христианской цивилизации, должен будить уснувшую совесть, должен, в противовес сытому спокойствию умирающей эпохи, учить людей – «зажигать беду в себе», по выражению епископа Феофана Затворника. Тихон Задонский дал ему возможность понять, что его религиозность не противостоит художественному и при этом обличительному таланту, а, наоборот, его определяет и вдохновляет. Архиерей – не из романа, а из Задонского монастыря Воронежской епархии – был великим обличителем русского общества в его ложной церковности, и обличения этого святого учителя Церкви, а также весь его светлый облик стали опорой творчества Достоевского. Собрания сочинений Задонского епископа печатались начиная с 1825 года много раз в разных изданиях.

«О лютое время! О, в коль бедное состояние пришло христианство... – пишет он, – везде слышится жалоба и плач, воздух самый шумит, плачевными гласами наполненный. Тамо вдова жалуется и плачет: той, де, сильный человек отнял у неё землю. Там убогий стонет: где мне жить? такой-то насильник согнал меня с земли и дом мой разорил. На другом месте крестьянин рыдает: столько-то дней в неделю работаю я на господина своего – когда уже мне на дом мой работать?»¹¹² Мы не знаем, читал ли Достоевский Тихона Задонского до 1845 года, когда были созданы «Бедные люди», но вот их основная идея во взволнованных словах архиерея XVIII века: «Бедные люди, не имея где сыскать, кто бы их плач услышал, и обиды насилия отвратил, и слезы отер, на небо, к Богу, Отцу сирых и Судии вдовиц, воздыхают и вопиют: «Боже! Ты наш Создатель и Господь, Ты наш защитник и помощник. Мы на земле бедности... Ты услыши и помилуй нас, бедных, и отри слезы озлобленного создания Твоего». И еще в другом месте епископ пишет: «Одни расширяют и украшают дома свои, а другие и хижин не имеют. Одни каретами и цугами проезжаются, другим землю пахать нечем... Но позовутся еще на всемирный суд все судии и власти... и воздадут ответ... станут цари и воздадут

¹¹² Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 1. С. 140.

слово, станут князи и вельможи и воздадут слово, станут господа и воздадут слово, станут пастыри и воздадут слово... за несправедливые суды и бесовские и незаконные с людьми, им порученными, поступки».

Подчеркнем: это говорилось в XVIII веке, но не Радищевым, а православным архиереем, которому, конечно, хорошо была известна его эпоха, и как запросто можно было, по примеру Ростовского митрополита Арсения, попасть в каземат. Но это был святой архиерей, для которого стала неизбежна борьба за единство веры и жизни, веры и любви, за сохранение в истории дела Христова.

«Многие называются христианами, – пишет он, – но истинный христианин (иначе) познаться не может, как от истинной веры и любви. Сии приметы истинного христианина... Христианин познается от веры и любви... где нет любви, там нет веры».

И это учение о единстве веры и любви было крайне нужно Достоевскому в его противопоставлении истинного христианства христианству ложному: это единство была та земля, на которой он только и мог стоять. Он мог верить только от любви или исходя из любви, подтверждая слова преподобного Иоанна Лествичника, древнего святого, что «любовь есть источник веры». В записных тетрадах к «Бесам» есть такая запись: «Вера эта не одно умственное признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, всё воплощенное Слово, Бог воплотившийся. Потому что при этой только вере мы достигаем обожания, того восторга, который наиболее приковывает нас к Нему непосредственно и имеет силу не совратить человека в сторону» (11: 188). И в другом месте тетрадей – о том, что «совершенная любовь совпадает с совершенной верой» (11: 268).

Это есть «вера, действующая любовью» апостола Павла, и, конечно, только такая вера имеет власть над человеком и миром. Учение св. Тихона, показавшее Достоевскому чистоту идей перво-христианства, дало ему опору в его борьбе за Христа в истории, а фигура святителя стала ясным центром романа и антитезой его темноте. Еще в материалах к «Житию великого грешника» Достоевский записывает: «Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может, смущаться не может и потому все поступки его ясные и прекрасные» (9: 138). Вся церковная действительность могла быть теперь воспринята им по-другому: если возможен Тихон, значит, не ложно обетование Евангелия о духовной непобедимости Церкви, значит, возможна борьба за нее с темной силой холода и греха, равнодушия и ненависти, заливающих Россию и страницы романа.

Бессилие равнодушной или нелюбящей веры сильнее всего разоблачено в Апокалипсисе, и вот в непропущенной главе «У Тихона» мы читаем такое место:

«Полный атеизм почтеннее светского равнодушия», – весело и простодушно ответил Тихон Ставрогину.

– Ого, вот вы как.

– Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха.

– Однако вы... вы читали Апокалипсис?

– Читал.

– Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской Церкви напиши...»?

– Помню. Прелестные слова...

– Где у вас книга? – как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу, – мне хочется вам прочесть... русский перевод есть?

– Я знаю, знаю место, я помню очень, – проговорил Тихон.

– Помните наизусть? Прочтите!..

Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч: о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг...»

– Довольно, – оборвал Ставрогин. – ...Знаете, я вас очень люблю.

– И я вас, – отозвался вполголоса Тихон.

Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость» (И: 10–11).

Это место – ключ к роману, и, после того как глава «У Тихона» была изъята, Достоевский переносит чтение Апокалипсиса в предпоследнюю главу, делая его основой предсмертного просветления Степана Трофимовича.

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши...», – читает ему книгоноша.

«Это... и это в вашей книге! – воскликнул он, сверкая глазами и приподнимаясь с изголовья. – Я никогда не знал этого великого места! Слышите: скорее холодного, холодного, чем теплого, чем только теплого» (10: 497–498).

Место Апокалипсиса, взятое в романе, есть откровение об истинной природе веры, и Достоевский произносит его для обличения религиозной действительности России. Вера, теряя любовь, теряет святость и тем самым теряет власть над миром; и этот мир, как Ставрогин от Шатова, уходит в ночь.

Деятнадцать веков назад языческое человечество не могло не поверить в Того Бога, за Которого умирали мученики, не могло не убедиться в святине Того, о Котором свидетельствовали святые. Истинная святость Церкви доказывала Бога. К концу истории совершается обратный процесс: человечество теряет веру в Бога, так как все меньше видит Его святых свидетелей, Его мучеников и учеников, Его истинной Церкви. А ученое богословие современности, само по себе, вне духовной силы, разве может в чем-нибудь убедить?

«- В Бога веруете? – брякнул вдруг Ставрогин.

– Верую.

– Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... впрочем, вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?

– Бог повелит, и сдвину, – тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза...

– Ну! По крайней мере все-таки веруете, что хоть с Божию-то помощью сдвинете, и это ведь не мало... Вы, конечно, и христианин?

– Креста Твоего, Господи, да не постыжуся, – почти прошептал Тихон» (11: 10).

Уже этих двух маленьких отрывков из пропущенной главы достаточно, чтобы почувствовать, с каким благоговением и любовью Достоевский совершал свой, как он говорил, «подвиг» создания портрета святого епископа. Ему и для себя лично, а не только для создания романа радостно было проникать в эту тайну святости, в это единство веры и любви, веры и нравственной чистоты.

Любовь к Богу, живущая вместе с верой, учит человека послушанию любви. Заповеди Любимого, переставая быть моральной прописью, делаются сердечно обязательными. Так именно – через любовь – нравственность становится неотрывной частью веры или сообразным ее выражением. Тихон Задонский пишет: «Христианина не исповедание едино, но вера и нрав, вере сообразный, делают христианином истинным». Нет христианских дел, нет и христианства. Единство веры и нравственности или, наоборот, неверия и безнравственности – одна из любимых идей Достоевского.

«Представьте себе, – пишет он в феврале 1878 года Н.Л. Озмилу, – что нет Бога и бессмертия души (бессмертие души и Бог – это всё одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь всё дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, а там хоть всё гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою ловкость и ум, чтобы не попасться закону) и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или почему мне если уж не резать, так прямо не жить на счет других, в одну свою утробу? Ведь я умру, и всё умрет, ничего не будет!» (30, кн. 1: 10).

«Совість без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного, – читаем в записной книжке последних лет. – «Подставлять ланиту, возлюбить более себя». Помилуйте, да для чего это? Я здесь на миг, бессмертия нет, буду жить в мою волю» (27: 56). Интересно, что почти так же это окончание неверия жизнью «в мою волю» сформулировано у апостола Павла: «Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!». В записных тетрадах к «Бесам» идея единства веры и нравственности ясно очерчена: нравственность и вера – одно, нравственность вытекает из веры. «Схема веры: православие заключает в себе образ Иисуса Христа. Христос – начало всякого нравственного основания» (11: 185). О единстве противоположных начал – неверия и безнравственности – рассказывает весь роман: достаточно вспомнить образ отказавшегося от веры насильника Ставрогина или молодого Верховенского, о котором Федька Каторжный замечает, что он перестал верить «по разврату» (10:428).

Рядом с Тихоном дан образ этого удивительного человека – «холодного» Кириллова, того, кто «с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада» (10: 471). Это он произносит те слова о Христе, которые, может быть, лучше многих богословских диссертаций открывают нам догмат о человечестве Богочеловека: «Слушай: этот Человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда» (Там же). Поэтому в замысле «неверующего» Кириллова есть какая-то литературная условность. Но эта условность дает раскрыть апокалипсический текст о «лаодикийской теплоте», ненавистной Богу. Недаром Кириллов по ночам читает Апокалипсис с Федькой Каторжным. Петр Степанович точно сказал о нем: «Свинство в том, что он в Бога верует, пуще чем поп» (Там же: 474). Поэтому прав Долинин, утверждая, что «Кириллов – один из самых положительных типов «Бесов». Его неверие, точно огонь под пеплом, ближе к вере, чем «верующее равнодушие»¹¹³.

Но, кроме условной стороны, образ Кириллова несет в себе и самостоятельную цель: раскрывает убеждение автора, что от неверия до самоубийства один логический шаг. «Бог необходим, – говорит Кириллов, – а потому должен быть... Но я знаю, что его нет и не может быть... Человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых» (Там же: 469). И в записных тетрадах: «Если нет Бога, то я вправе прекратить жизнь... Оттого-то я и стреляюсь. Если нет Бога, не хочу оставаться в этом мире» (11:293). «Жить без Бога – одна лишь мука» (13: 302), – скажет через пять лет после «Бесов» странник Макар в «Подростке». А в записных тетрадах к «Преступлению и наказанию», то есть за пять лет до «Бесов», Достоевский дает Мармеладову слова, точно из кирилловского «символа веры»: если Бога нет, «тогда жить нельзя... Слишком зверино... Тогда в Неву и я бы тотчас же бросился» (7: 87).

Такой звериной пустыней делается этот мир без Бога; если эта земля никогда не была «подножием божественных ног», то как человек может оставаться на ней? Об этом Достоевский писал и в письмах, и в «Дневнике писателя». «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, – писал он в 1876 году в «Дневнике писателя». – А высшая идея на земле лишь одна, и именно – идея

¹¹³ «Кириллов так близко подошел ко Христу... (Здесь) отделенный тончайшей гранью лик человекобога уже начинает сливаться с ликом Богочеловека» (Долинин А. С. «Исповедь Ставрогина». С. 150).

о бессмертии души человеческой... Самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей... Ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле» (24:48–49).

Бог, не только «обещая», но уже и начиная вечную жизнь на земле в сердце верующего, в его предобручении вечности, тем крепче через это, как пишет Достоевский, «связывает его с землей». Но это утверждение земли как начала благословенной вечности основано в христианстве на том, что «Слово плоть бысть», что Бог жил и страдал на этой самой земле. «И с человеки поживе». И вот в записных тетрадах к роману «Бесы» мы находим и об этом важные записи: и это, значит, было внутри разрабатываемой (хоть и не осуществленной) темы и внутри душевной жизни автора.

«Не мораль Христова, не учение Христа, – пишет Достоевский, – спасет мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть... что идеал был во плоти, а стало быть, не невозможен и достижим всему человечеству... Христос и приходил затем, чтобы человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной только мечте и в идеале, что это естественно и возможно. Этим и земля оправдана. Последователи Христа, обоготворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого Образа и веровать в Него во плоти.... Тут именно все дело, что Слово в самом деле плоть бысть. В этом вся вера и всё утешение человечества» (11: 112–113).

Все мы знаем пасхальную литургию, когда читается благовествование о том, что «Слово плоть бысть», о вочеловечении Бога, о соединении небесного с земным, о прощении и благословении земли – знаем хотя бы по видению лесковского Ахиллы над гробом Савелия, когда «красный огонь погребальных свеч исчезал в лучах восходящего солнца¹¹⁴». «Этим земля оправдана», – пишет Достоевский в 1870 году, а через десять лет, в «Братьях Карамазовых», даже Иван будет говорить о земле, освященной Богом: «У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу» (14: 226), – говорит Иван Алеше.

Это и было сердцем веры Достоевского – земля, освященная страданием Божиим, Святая земля, или, что то же самое, Святая Церковь. Эту благословенную землю мы найдем у него везде.

Странник Макар в «Подростке» рассказывает: «Летом, в июле месяце, поспешали мы в Богородский монастырь к празднику... Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, головой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная! Тихо всё, воздух легкий... И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, всё сие в себе заключил» (13: 290).

В плане «Жития великого грешника» есть такая тема: «Монастырь. «Дай Бог доброй ночи нам и всем диким зверям...» О букашках и о вселенской радости живой жизни: вдохновенные рассказы Тихона» (9: 137–138). Об этой вселенской радости говорит князь Мышкин в «Идиоте», Маркел, Зосима и Иван в «Братьях Карамазовых», в этой радости Алеша целует землю после «Каны Галилейской», после своей Пасхи.

¹¹⁴ Л е с к о в Н. С. Соборяне. Ч. 5. Гл. 7.

Достоевский понимал, что христианство – это не «курс догматического богословия», а только одно: пасхальная ночь на земле. И в этом дерзновении и твердости, с которой он передает нам эту истину, его великая заслуга перед христианами нашей эпохи. В романе «Бесы» есть тоже одно сильнейшее место об этой Пасхе, Страстной неделе земли: «А тем временем», – говорит Марья Тимофеевна Лебядкина Шатову, – «и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» – «Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого». – «Так, говорит, Богородица – Великая Мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас о всем и возрадуешься...» Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, всё равно слезы твои от одной радости потекут» (10: 116).

Вот он – собор радости: Церковь, проступившая наконец сквозь поредевшие деревья чащи, в которую завел нас Достоевский. Собор радости, но, конечно, через собор мук. Авва Силуан говорил: «Душа, когда молится за мир, знает, что скорбит вся земля». Рассказывая о своих встречах с Достоевским в 1873 году, то есть вскоре после окончания «Бесов», О. Починковская передает такой эпизод: «Он... поднял на минуту глаза от корректуры «Иностранных событий» и проговорил холодным, отрывистым голосом:

– А как это хорошо у Лермонтова:

*Уста молчат, засох мой взор.
Но подавили грудь и ум
Непроходимых мук собор
С толпой неусыпимых дум...*

Это из Байрона... Даже у Лермонтова глубже, по-моему, это вышло: Непроходимых мук собор!

Этого нет у Байрона... Целая трагедия в одной строчке... Одно это слово «собор» чего стоит¹¹⁵. Церковь для тех, кто ее принимает всерьез, есть одновременно и стояние у Креста, и Пасха. Тут ничего нельзя ни прибавить, ни объяснить. Если не «напоишь землю слезами», то ничего в Церкви и не поймешь и не найдешь ее для себя: не услышишь ее Пасхи. Об этом слезном пути обретения Церкви и учит нас Достоевский.

В записных тетрадах к роману есть такое место: «Ну, ты в слезах найдешь утешение. Читал я раз книгу инок Парфения о путешествии на Афон – что инок Николай имел дар слезный, – ну вот ты и есть инок Николай, который имел дар слезный» (11:76). Возможно, что по первоначальному плану это должно было относиться к Ставрогину, но в результате изменения его образа эта характеристика может быть отнесена только к Марье Тимофеевне, обнаруживая афонский источник ее молитвенных слез.

О молитве самого Достоевского, наверное, не надо бы и писать, если бы не опасение, что в наше время могут быть люди, просто не знающие этой стороны его жизни.

Еще в октябре 1837 года, то есть тогда, когда ему было 16 лет, он пишет в одном письме: «Каждый день я молюсь со слезами Богу» (28, кн. 1:42). В Казанском соборе он юношей молился с Шидловским. О молитве в том же Казанском соборе так пишет Анна Григорьевна: «Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал»¹¹⁶. Она же вспоминает, что «в девять часов детей наших

¹¹⁵ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 171, 446–447.

¹¹⁶ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 339–340.

укладывали спать, и Федор Михайлович непременно приходил к ним «благословить на сон грядущий» и прочитав вместе с ними «Отче наш», «Богородицу» и свою любимую молитву: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под покровом Твоим»¹¹⁷.

Починковская пишет: «Я всегда вспоминаю один рассказ, который мне довелось случайно услышать от почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Ф.М. Достоевского в Знаменской церкви. Вот ее подлинные слова: «Он всегда к заутрене или к ранней обеду в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это – Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его; не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет»¹¹⁸. О молитве Достоевского пишут Зеленецкий, Яновский, дочь Любовь Федоровна и другие лица. Но даже если бы не было ни одного из этих свидетельств, в нашем наследстве мы имеем замечательные уроки молитвы в «Идиоте», в «Бесах», в «Подростке» и в «Братьях Карамазовых»: у Достоевского была непрестанная забота о молитве, и в особенности о молитве за всех людей. Вспомним опять слова аввы Силуана: «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет... Ты, может быть, скажешь, что теперь нет таких монахов, которые молились бы за весь мир; а я тебе скажу, что когда не будет на земле молитвенников, то мир кончится».

Обычно «Бесы» (а вместе с романом и его автор) воспринимаются только как нечто антинигилистическое; но сколько же в романе или около него чисто христианского материала, и это за десять лет до «Братьев Карамазовых»! Вот еще один пример. Тихон в запрещенной главе хочет, чтобы Ставрогин, для искупления своего преступления, принял подвиг тайного монашества. «Я знаю одного старца, – говорит он ему. – Подите к нему в послушание, под начало его лет на пять, на семь... и сею великою жертвой купите всё, чего жаждете и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете, что получите!.. Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником тайным, неявным, можно так, что и совсем в свете живя...» (11:29–30). Значит, уже в 1870 году Достоевский ясно подошел к идее «монастыря в миру», куда он впоследствии пошлет Алешу, к той идее, значение которой только теперь начинает осознаваться нашей церковной эпохой.

Образ Шатова недостаточно раскрыт в романе по сравнению с материалами к нему в черновиках, и это дало повод сомневаться в вере героя, а через него в вере Достоевского. «Я буду веровать» (10: 201), – говорит Шатов в романе, в смысле: «Я хочу верить». «Достоевский еще только хотел верить», – радуются литературоведы. Я уже приводил его письмо к Е.Ф. Юнге о двойственности души. «Верите ли Вы во Христа? – пишет он ей. – Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь Ему вполне, и Вы получите исход душевный» (30, кн. 1: 149). Верить и «очень хотеть верить» для Достоевского звучало одинаково. Ставрогин говорит Тихону: «Все-таки веруете, что хоть с Божиею-то помощью сдвинете (гору. – С.Ф.), и это ведь не мало. По крайней мере хотите веровать» (11:10).

Состояние истинной веры Достоевский воспринимал очень высоко, по-евангельски, то есть с обладанием властью совершать знамения. С точки зрения евангельского описания признаков веры («уверовавших же будут сопровождать сии знамения... возложат руки на больных, и они будут здоровы...») наша «вера», не приводящая даже к знамени нравственного перерождения, действительно может называться верой только условно. И вот на фоне этой «как бы веры» образованного общества XIX века Достоевский усиливает, а не ослабляет выражение: «Я буду верить». Алеша Карамазов восклицает: «Верил, верую, и хочу веровать, и буду веровать» (14: 308). О Шатове в записных тетрадях читаем: «Шатов беспокойный, продукт книги, столкнувшийся с действительностью, уверовавший страстно и не знающий, что делать. Много красоты... Ш. тоже проповедовал смирение и умер пламенным энтузиастом» (11: 99, 126). Есть там и такая заметка:

¹¹⁷ Там же. С. 296.

¹¹⁸ См.: Чешихин-Ветринский В. Е. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. С. 158.

«Шатов говорит с женой о старчестве» (11: 285). Вспомним, что книга инока Парфения, которая была с Достоевским во время работы над «Бесами», открыла ему мир подвижников православного монашества – старчества, и этот термин автор за десять лет до Зосимы отдает Шатову. Шатов же посылает Ставрогина к старцу Тихону, и это место осталось в романе. Когда в романе Виргинская накануне убийства Шатова согласилась ночью идти к роженице Марии Шатовой, он говорит: «Есть же и в этих людях великодушие!.. Убеждения и человек – это, кажется, две вещи во многом различные. Я, может быть, много виноват перед ними!.. Все виноваты, все виноваты и... если бы в этом все убедились!..» (10: 445–446). Так Достоевский, провозжая его на смерть, отдает ему свои заветнейшие христианские мысли о всеобщей вине.

Ставрогин не захотел стать «иноком Николаем с даром слезным». Он испугался подвига покаяния, в котором уж ничем нельзя порисоваться и ни в чем нельзя возлюбить себя. Утвердив единство веры и любви, Достоевский закономерно перешел к идее подвига, понятого уже в «Преступлении и наказании», к идее труда любви. «Действительный Тихон», возобновивший в век, когда Екатерина именовала себя «главой греческой церкви», аскетичу первохристианства и отцов, несомненно, и в этом был его руководителем. «Не на оперы, и банкеты, и роскоши позваны христиане, – писал св. Тихон, – но на брань и подвиг духовный¹¹⁹». А Лиза Тушина в романе говорит (после своей страшной ночи): «Мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся разгадка» (10:400). В записных тетрадах к роману мысли о подвиге разбросаны повсюду. «Каяться, себя созидать... нужны великие подвиги... подвигом мир победите... нужно самообвинение и подвиги, иначе не найдем православия и ничего не будет. Сила в нравственной идее... Архиерей добывает Князя (Ставрогина. – С.Ф.) обязанностью самовоскресения, самообработки – то есть необходимостью практического долга православия... Архиерей говорит, что катехизис новой веры – хорошо, но вера без дел мертва есть и требует... труда православного, то есть: «Ну, как ты, барин, способен ли на это?» (11: 173–195). Мысли «архиерея» передает в романе Шатов. «Вы атеист, потому что вы барич, последний барич... Добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень» (10: 202–203), – кричит он Ставрогину.

Барин, как известно, предпочел участие в убийствах. «Один лишний брызг крови что для вас может значить?» (Там же: 297) – говорит ему Маврикий Николаевич. «Он, казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен» (Там же: 37), – замечает о нем Хроникер.

Идея подвига, или духовного труда, – страшная для многих идея. В ней как в фокусе все христианство. Хочешь христианства в себе и в мире – иди на «узкий путь», на дисциплину, на труд любви. В записных тетрадах есть такое замечание: «Самообладание заключается в дисциплине, дисциплина в Церкви» (11: 122). Эти слова, а также многие другие кажутся выписками из статей церковного писателя К.Е. Голубова, которого Достоевский первоначально хотел ввести в роман как учителя Шатова. «Кроме самостеснения, – писал, например, Голубов («самообладание», «подвиг», «дисциплина» – у Достоевского), – нет истинной свободы человеческой, но только бесчиние и разврат... Без самостеснения нельзя сделать поворота к лучшему никакими веслами внешних учреждений¹²⁰».

Это все азбука христианства, но эта азбука режет ухо всякому интеллигенту. Но Достоевский уверовал, что и любовь есть труд, даже и любви надо учиться. Еще в плане «Жития великого грешника», то есть до создания «Бесов», он писал: «Он (и это главное) через Тихона овладел мыслью (убеждением): что, чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир» (9: 139).

¹¹⁹ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 3. С. 57.

¹²⁰ Субботин Н. Русская старообрядческая литература за границей // Русский вестник. 1868. № 7–8. С. 113, 126.

Но Достоевский видел, как мало людей, которые это понимают. И вот, точно независимо от замысла и воли автора, на судьбу романа начинает давить судьба этого мира, не желающего жизни Креста. Роман наполняется исторической безнадежностью, чувством обреченности истории. Обличения Тихона Задонского тоже часто чередовались со словами того исторического пессимизма, которым полно Евангелие и вся христианская письменность. «Чем более мир приближается к концу, – пишет св. Тихон, – тем паче оскудевает истинная любовь, вместо того лицемерие и ложь умножаются¹²¹».

В христианстве одновременно существуют два убеждения: вера в неумиримость Церкви и неверие в победу христианства в истории. Неудаче христианской цивилизации посвящены в Евангелии три полные главы: ни о чем не написано столько, сколько о том, что «за умножение беззаконий иссякает любовь» в мире и что «когда придет Сын человеческий, найдет ли Он веру на земле?». Христианство, как громадная река, некогда поившая человечество, иссякает в пустынях истории. Можно ли этого не видеть?

Конечно, еще многие будут, говоря о Евангелии, повторять слова Степана Трофимовича: «Я ничего не имею против Евангелия, и... Я давно уже хотел перечитать» (10: 486) или (как он же сказал) «исправить ошибки этой замечательной книги» (Там же: 491), а мы бы теперь сказали: приспособить ее для целей современного социального прогресса. Достоевский не выдумывал светского разговора Степана Трофимовича о Евангелии. В воспоминаниях А.А. Толстой есть один ее разговор с Тургеневым, разговор, в отношении которого можно было бы заподозрить, что он был известен Достоевскому, если бы не тот факт, что Толстая познакомилась с Достоевским только за две-три недели до его смерти. «Заговорили и об Евангелии, – пишет Толстая, – Тургенев отнесся к нему с каким-то неприятным пренебрежением, как к книге, ему мало известной. «Однако же, я не поверю, что вы никогда не читали Евангелия», – спросила я. «Нет, мне случалось читать Евангелие. Я скажу даже, что св. Лука и Матфей довольно интересны, что же касается св. Иоанна, то не стоит даже о нем и говорить¹²²». Или, может быть, только тогда «стоит говорить» о нем и прибегать к христианству, когда наступают минуты смерти, как у Степана Трофимовича, или минуты опасности и страха, и опять забывать о нем, как симпатичный майор в романе, родственник Виргинского, переставал верить в Бога, чуть лишь проходила ночь.

Какой-то несформулированной безнадежностью полон роман. Он оканчивается шестью насильственными смертями. В нем три главы с названием «Ночь». Предчувствием ночи полны и видения Хромоножки: «Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно» (Там же: 117).

Во имя борьбы с ночью истории был написан этот роман. В записных тетрадях есть как бы второй его эпилог, обращенный к молодому поколению: «В Кириллове народная идея – сейчас же жертвовать собою для правды... Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман» (11: 303).

Все напряжение исторического пессимизма Достоевского дано в страшной жизни и смерти Ставрогина, этого «Ивана-Царевича» не только для Верховенского, но и для Шатова и для Достоевского. К образу гибели Ставрогина подходят слова св. Тихона: «Грехами своими человек как жалом себя уязвляет... Человек грешит и казнит себя. Грех его – казнь ему есть¹²³». А в записных

¹²¹ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 45.

¹²² Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 18 и сл. Даже если это не совсем правильно («Бежин луг»), ответ Тургенева знаменателен.

¹²³ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 61.

тетрадах читаем диалог Ставрогина и Тихона: «Это исповедь» (Ставрогин говорит Тихону). «Тут обида ребенку...» Тихон: «Знаю, что уж очень постыдно». Ставрогин: «Нет, тут только обида ребенку. Самоказнь» (11: 307). Окончательная гибель Ставрогина и дана как «самоказнь» в петле.

«Причину зла я вижу в безверии» (30, кн. 1:236), – писал Достоевский в декабре 1880 года А.Ф. Благонравову. И безверие – он видел это давно – побеждает. В самом конце романа он хочет удержать свою надежду на победу веры в истории словами умирающего Степана Трофимовича, слушающего евангельскую притчу об изгнании бесов. «Больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых» (10:499). Но безнадежная нота романа, несмотря на это, не уменьшается, так как мы видим, что у автора не оказалось никого другого, кто мог бы сказать эти слова, кроме Степана Трофимовича, которого хоть он и пожалел под конец, но в котором он даже в минуты предсмертного прощания сомневается.

Христианская цивилизация вступила в историю, как первый апокалипсический всадник на белом коне, «чтобы победить». Но за ним вышли другие всадники, и уже в «Идиоте» Лебедев, передавая нам восприятие Достоевским истории, говорит: «Мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как всё в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут: «мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий"... да еще дух свободный, и сердце чистое, и тело здоровое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохраняют, а за сим последует конь бледный, и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад»²²⁵ (8: 167–168).

Начало 70-х годов – эпоха создания «Бесов» и редакторства в «Гражданине» – было временем обостренного ожидания Достоевским конца истории и наибольшего приближения к церковному отношению к ней. Христианство не верит в нравственный прогресс человечества, в духовное благополучие земной истории, но оно зовет к неустанной борьбе за христианское просвещение этой истории, за спасение людей во имя неумирающей Церкви, как бы мало этих людей ни было. Апостол сказал об этом так: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». И эта мысль, особенно в эти годы, стала мыслью Достоевского. В записных тетрадах к роману мы читаем: «Нечего глядеть, если это неосуществимо; хотя бы только тысячному дана была белая одежда (Апокалипсис), и того довольно» (11:186). В Апокалипсисе образ белой одежды есть образ спасаемой Церкви. По словам Вл. Соловьева, узнавшего Достоевского именно в эти, 70-е годы, любимой книгой его был Апокалипсис¹²⁴. Он уже давно был полон ощущения законов, «ведущих к чему-то Европу, к чему-то неизвестному, странному, страшному, но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся» (25: 144). «Теперь для всех в мире уже «время близко», да и пора» (25: 103), – писал он в «Дневнике писателя» 1877 года. «И конец миру близко – ближе, чем думают», – говорил он О. Починковской. «Злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его» (21: 204).

Но в Достоевском жила почти, можно сказать, одновременно и вера в какое-то духовное благополучие истории человечества, в какую-то будущую победу добра в этом мире. На пушкинском празднике в 1880 году он в своей речи сказал: «Стать настоящим русским и будет именно значить... изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского, окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» (26:148). Мы не знаем, где в Евангелии этот закон о гармонии земной истории. В христианстве нет места мечтательности, а в «Братьях Карамазовых» Зосима говорит: «Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью... Верьте, что кончится сим: на то идет» (14:

¹²⁴ См.: Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского (1881–1883). Третья речь // Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1914. Т. 8. С. 197. Это особенно заметно начиная с «Идиота», во время работы над которым Достоевский читал также и перевод части Апокалипсиса, сделанный Майковым (см. письмо Достоевского к Майкову от мая 1868 года). Как большинство религиозных стихов, стихотворный перевод Майкова весьма слаб.

286). И во многих местах этого романа мы опять читаем – точно заклинание – это «буди, буди!» грядущей гармонии.

Конечно, Достоевский мыслил эту гармонию как следствие христианского возрождения людей. «В восточном идеале, – пишет он в «Дневнике писателя» 1877 года, – сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение» (25:152). «Церковь... определена царствовать, – говорит Паисий, ученик Зосимы, – и в конце своем должна явиться как царство на всей земле несомненно» (14: 57). «Волны (неверия, – С.Ф.) разобьются лишь о русский берег» (26: 168), – утверждал писатель в «Дневнике писателя» 1880 года. Невольно вспоминается характеристика, данная Достоевскому еще Герценом: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»¹²⁵».

После произнесения своей Пушкинской речи Достоевский пишет жене: «Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике... Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты, – всё это обнимало, целовало меня... «Пророк, пророк!» – кричали в толпе... Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств...» (30, кн. 1: 184–185). Письмо большое, и нигде не заметно ни малейшего сомнения в ценности всех этих объятий и обмороков.

С позиции церковного реализма эта сторона наследства Достоевского была, еще при его жизни, подвергнута строгой и совершенно справедливой критике К. Леонтьевым. Но, кажется, даже ошибки Достоевского более помогают иногда, чем идейная правоверность других. К «переходу черты» его толкало отвращение от того равнодушия к людям и к судьбе человечества, которое – мы знаем – так характерно для многих религиозных людей. В записной книжке 1880 года есть запись: сначала в скобках или как бы в кавычках он излагает суть возражений Леонтьева на мечту о всечеловеческой гармонии: «(Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет.) В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо» (27: 51).

Цель жизни христианина – спасение от греха и причастие вечной жизни, стяжание божественного Духа. Эта цель достигается исполнением заповедей, из которых первая есть заповедь о любви. «Верю и любовью приступим, да причастницы жизни вечная будем». Если же эта дорога к спасению забывается, а «спасение души» как цель продолжает утверждаться, то и образуется то «благочестивое равнодушие» к людям и миру, та жизнь в свое «душевное пузо», которая есть опаснейший признак бессилия духовной эпохи.

Тихон Задонский, как и Леонтьев, знал, что «всё погибнет», но он писал: «Божия благодать показывает человеку не токмо его, но и всего рода человеческого окаянство и бедность. Откуда в сердце восстает соболезнование и к прочим людям. Сего ради душа не только о своей, но и прочих людей бедности вздыхает и плачет... и хотел бы всех без изъятия объятиями своея любви обнять»¹²⁶».

Это вздыхание и плач о других, о всем роде человеческом, оскудевало на глазах Достоевского в Русской Церкви, а вместо него, под покровом византийской внешности, все увеличивался религиозный эгоизм как особый вид ферапонтовской идеологии, которую Достоевский разоблачил в «Братьях Карамазовых». В соединении с излишней покорностью императорской власти это и составляло тот духовный паралич, в котором находились церковные круги.

¹²⁵ Письмо А.И. Герцена Н.П. Огареву от 17 июля 1862 г. (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1963. Т. 27. Кн. 1. С. 247).

¹²⁶ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 68.

«Церковь в параличе с Петра Великого, – писал он в 1880 году. – Страшное время, а тут пьянство. Штунда... Между тем народ наш оставлен почти что на одни свои силы» (27:49). Зрелище паралича и толкало Достоевского на какое-то, хотя бы ошибочное, действие. И в то же время он неоднократно осознавал эту ошибочность. В 1877 году он пишет в «Сне смешного человека»: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей... Но как устроить рай – я не знаю... Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) – ну, а я все-таки буду проповедовать» (25: 118–119).

В конце поучений Зосимы есть слова тоже совершенно неожиданные после всех его «буди, буди!» превращению государства в Церковь. «Верь до конца, – учит он, – хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали Бога ты, единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви» (14:291).

Вот, собственно, все, что осталось от мысли, которая в «Дневнике писателя» 1881 года именуется «всесветным единением во имя Христово» и «русским социализмом» (27:19). Осталось только двое! Но в понимании и Достоевского и нашем – если осталось «двое», то, значит, осталось все, осталась Церковь, которая всегда там, где «двое или трое собраны во имя Христово», остался «мир живой любви». Это понятно всякому ожидающему «жизни будущего века».

Последние строчки «Братьев Карамазовых» могут считаться завещанием нам от Достоевского-художника. Там, кроме призыва к духовному действию, к бодрой и веселой «работе Господней», есть и такое место:

«- Карамазов! – крикнул Коля. – Неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?»

– Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было, – полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша» (15:197).

Верю в жизнь будущего века и заканчивается весь путь Достоевского. Очень скоро после этого – через три месяца – все «житие великого грешника» окончилось смертью, которой могли бы пожелать себе многие христианские праведники.

В связи с этой стороной идеи Достоевского характерна и одна запись в черновиках «Братьев Карамазовых»: «Сократи, Господи, времена и сроки ради всех детей» (Там же: 243).

Роман «Бесы» имеет особую судьбу. Усеченный в своей вершине изъятием главы «У Тихона», он, кроме того, во многом сокращался самим автором. Записные тетради к нему показывают, что множество интереснейшего христианского материала осталось неиспользованным, сохранив для нас свое значение только как раскрытие духовной жизни автора. Может быть, к этому сокращению автора толкала острота его антинигилистической борьбы. «Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь» (29, кн.1: 112), – писал он Страхову о романе в марте 1870 года. Но, очевидно, и сама тема столкновения веры и неверия, и раскрытие истинной природы Церкви через образ Тихона в обычных рамках романа слишком трудны. Тут надо писать не роман, а новый Апокалипсис.

В октябре 1870 года Достоевский пишет Страхову: «Вот теперь, как уже отправил в редакцию «Русского вестника» начало начала, – я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему» (29, кн. 1:148). В процессе писания автором было забраковано и уничтожено 15 печатных листов текста. И все же, несмотря на всю неполноту, роман приносит громадную духовную пользу. Кроме Тихона, Марьи Тимофеевны и Шатова, есть в романе одно безликое лицо, ощущение которого заставляет нас в страхе теснее прижаться к стенам Церкви, теплым от вековых молитв. Это лицо – стихия неверия и ее «многотрудная ночь» (10: 455) борьбы с ликом Христовым в истории. Мы слышим эту борьбу на страницах романа, как ветер в темную ночь.

И бездна нам обнажена

*С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!*

Неверие и для Достоевского, и для нас есть именно «снятие преград» между вечной смертью и этой теплой человеческой землей. «Земля благая, благословенная Богоневесто», – читаем мы в молитвах, «Богородица Великая Мать сыра земля есть» (10: 116), – читаем мы в романе, и земля перестает быть Матерью, если перестает быть Богородицей, если перестает быть благословенной. А все устремление атеизма и направлено к тому, чтобы снять с земли следы благословения Божия – память о Боге, жившем на ней и страдавшем на ней. Когда Лямшин пускает мышь за икону, когда Верховенский убивает Шатова, когда Ставрогин губит девочку Матрешу, Марью Тимофеевну и Лизу, везде мы чувствуем ненависть неверия к образу Божию на земле. И это предсказано: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Но тут же прибавлено: «Претерпевший же до конца – спасется». Христианин никак не может верить в духовное благополучие истории и в историческое торжество христианства. Если он верит, то он или лукавит, или не знает Евангелия. Но он должен вполне верить в торжество христианского терпения этой истории, терпения около теплых стен Церкви, ибо сказано: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» и «Верую, что увижу благодать Господа на земле живых».

Глава VIII. Общее дело

Вскоре после опубликования «Бесов», в течение 1873 года и первых месяцев 1874-го, Достоевский редактировал журнал «Гражданин». В этом журнале начал печататься «Дневник писателя», выходящий затем в 1876 и 1877 годах самостоятельным изданием. Один номер «Дневника» вышел в 1880 году, и один номер в 1881-м, в день похорон писателя.

«Дневник писателя» – это трибуна Достоевского как публициста и общественного деятеля. Общественно-политические идеи его к этому времени прочно сформировались как славянофильские. Еще в 1866 году он, наверное, искренне писал Каткову: «Я был и, кажется, навсегда останусь по убеждениям настоящим славянофилом» (28, кн. 2: 154), забывая о том, что еще совсем незадолго перед этим, в начале 60-х годов, относился к славянофильству довольно сдержанно». А в 1879 году он в письме к Победоносцеву даже Петра Великого называл нигилистом.

У Ивана Аксакова, в письме к Страхову (июль 1863 года), есть такое определение славянофильства: «Славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь¹²⁷». Как бы ни расценивать это заявление, искреннее стремление славянофильства к практической христианской работе в истории, к какому-то общему живому христианскому делу отвечало особенностям религиозного склада Достоевского. В христианстве он был не созерцатель, а деятель. Ему была, наверное, непонятна идея «личного спасения души» вне спасения всех других душ, так же как идея личной жизни в Боге только одной этой своей души, по-леонтьевски огражденной стенами византийской церковности. Его религия – это ощущение явления Христа в мире, «Слова, ставшего плотью», явления, совершенного из любви к миру и властно поэтому направляющего всех на общее дело во имя этой любви. Общее христианское дело совершается как церковная соборность, как собрание, или «собор», то есть «сбор» всех, «возлюбивших явление Его» и в Нем обретающих свое единство. Церковь для Достоевского была, наверно, наиболее понятна именно через ее соборность, через ее общее дело, в котором он хотел участвовать и своим «Дневником».

«С начала «Дневника писателя», – пишет Страхов, – он (Достоевский, – С.Ф.) был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всех

¹²⁷ Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском//Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 257.

концов Петербурга и краев России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастьях; но также беспрерывно приходили с выражениями своего поклонения, с вопросами, с жалобами на других и с возражениями против него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, расспрашивать, отписываться, объяснять¹²⁸». Этим своим журналом он точно открыл к себе двери, и к нему пошла вся Россия.

Иногда это было почти непосильно. «У меня буквально нет ни минуты времени, – пишет Достоевский в октябре 1880 года П.Е. Гусевой, – для исполнения самых святых и неотложных обязанностей. Я всё запустил, всё бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 и 11 часов нагнувшись над письменным столом. Для чего я пишу ночью? А вот только что проснулся в час полудни, как пойдут звонки за звонками: тот входит одно просит, другой другого, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я ему разрешил какой-нибудь неразрешимый «проклятый» вопрос – иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец, депутация от студентов, от студенток, от гимназий, от благотворительных обществ – читать им на публичном вечере... У меня лежит несколько десятков рукописей, присланных по почте неизвестными лицами, чтоб я прочел и поместил их с рекомендацией в журналы: вы, дескать, знакомы со всеми редакциями! Да когда же жить-то, когда же свое дело делать...» (30, кн. 1: 217–218).

Но в то же самое время Достоевский не мог не осознавать, какое большое новое дело он начал. «Много доставил мне этот «Дневник» счастливых минут, именно тем, что я узнал, как сочувствует общество моей деятельности, – пишет он в декабре 1877 года Л.А. Ожигиной. – Я получил сотни писем из всех концов России и научился многому, чего прежде не знал. Никогда и предположить не мог я прежде, что в нашем обществе такое множество лиц, сочувствующих вполне всему тому, во что и я верю» (29, кн. 2:178). Это письмо свидетельствует также и о том, что только свой последний роман – «Братья Карамазовы» – Достоевский создавал в ясном ощущении мощной поддержки единомышленников, которая так важна для писателя, а все предыдущие, включая «Подростка», писались в атмосфере умственного одиночества. Это подтверждает и его современница Е.А. Штакеншнейдер. «Его значение учителя, – пишет она, – так еще ново, что он и сам его не вполне сознает, да и вообще оно в сознание еще не вошло, а только входит, и дай Бог ему здоровья и веку. Продли, Господи, его жизнь! Много может он сделать добра, установить пошатнувшееся, расчистить и указать путь к правде. Главное, к нему сами идут, хотят его слушать, жаждут его слова, жаждут его, измученные, потерянные¹²⁹».

В этом соединении с Россией, обнаруженном благодаря «Дневнику», его великое значение. Еще недавно, в 1873 году, Достоевский писал в «Гражданине»: «Они объявляли меня «сыскно-полицейским писателем"... крепостником, вздыхающим по «крепостному состоянию» (21:158). Правда, и в 1879 году могли появляться такие, например, заметки о нем в печати (отзыв о «Братьях Карамазовых»): «Истерический бред развинченных нервов и эпилептические судороги – всё это смешано в один сумбур, имеющий подобие с теми грезами, которые наполняют голову пьяницы, страдающего белой горячкой после долгого запоя¹³⁰».

Но все-таки в 1879 году Достоевский уже мог так расценивать в письме к Победоносцеву свое положение в обществе: «Мое литературное положение считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки «Бесами», то есть ретроградством и обскурантизмом, – как этот человек... все-таки признан молодежью нашей, вот эту самую распатанной молодежью, нигилистиной и проч.! Мне уже это заявлено ими, из многих мест.

¹²⁸ Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском// Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 316.

¹²⁹ Штакеншнейдер Е. А. Из «Дневника». 1880 г//Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 308.

¹³⁰ Молва. 1879. Май. № 149.

единичными заявлениями и целыми корпорациями. Они объявили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают съотлруководящим писателем» (Ъй, ка. 1: 121).

Достоевский не приписывал себе этого перелома в общественном сознании. Перелом в обществе действительно совершился. В «Дневнике писателя» 1880 года есть такое место: «Нужно было Пушкина, Хомяковых, Самариных, Аксаковых, чтоб начать толковать об настоящей сути народной... И когда они начали толковать об «народной правде», все смотрели на них как на эпилептиков и идиотов, имеющих в идеале – «есть редьку и писать донесения» (26:156).

В том же, 1880 году он писал в одном письме: «Уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и илет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, – то есть своего Бога и свою веру. Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает сама сознавать» (30, кн. 1: 236).

«Меня так теперь все травят в журналах, – пишет он в декабре 1880 года Т.И. Филиппову, – а «Карамазовых», вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за Бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти непрерывно), и, наконец, симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, – решительно воскрешают и ободряют дух» (Там же: 235).

Сотни писем и вереница посетителей «новогрядущей интеллигенции», конечно, ставили Достоевского на какое-то особое руководящее место духовного учителя, и он легко мог бы начать новую «переписку с друзьями». Но вот как он относился (1880 год) к соблазну фальшивой позы: «Каков я есмь, таким меня и принимайте, – читаем мы в его письме к И.С. Аксакову, – вот бы как я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «Переписке с друзьями») – есть неискренность» (Там же: 226–227).

«Вы думаете, – пишет он в другом письме, – я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Многие мне это пишут – но я знаю наверно, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их убаюкали» (Там же: 9).

Достоевскому нужно было одно: живое общение с живыми душами. И как он радовался, когда встречал такую душу и чувствовал, что может ей чем-то помочь или чему-то вместе с нею порадоваться. Чаще всего это были совершенно незнакомые люди. «После такого письма, которое Вы мне написали, – обращается он в апреле 1880 года к Е.Ф. Юнге, – Вы, конечно, для меня дорогой человек, близкое душе моей существо, родная сестра по сердцу» (Там же: 149).

«Я высоко ценю, – пишет он в марте 1877 года Е.С. Ильминской, – такое прямое обращение ко мне и дорожу таким отзывом. Что же больше и что же лучше для писателя? Для того и пишешь. Это – братское общение душ, которое самому удалось вызвать: самая дорогая награда» (29, кн. 2: 146).

В октябре 1876 года Петербургским уголовным судом была осуждена одна женщина – Корнилова, и Достоевский, считая приговор несправедливым, написал об этом в своем «Дневнике». Статья произвела такое впечатление на одного незнакомого ему чиновника судебного ведомства, что он написал Достоевскому письмо с советом – как надо действовать в пользу осужденной и с обещанием со своей стороны помощи в кассации. Вот ответ ему Достоевского: «Прокурор обещал содействовать. Вы тоже, и дело, стало быть, имеет перед собой надежду. В Иерусалиме была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленный жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет человека,

который опустил бы его в купель, когда возмущается вода. По смыслу письма Вашего думаю, что этим человеком у нашей больной хотите быть Вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода. За это вознаградит Вас Бог, а я буду тоже действовать до конца» (29, кн. 2:131). При вторичном рассмотрении дела Корнилова была оправдана.

В воспоминаниях А.Ф. Кони приводятся и другие факты общественной деятельности Достоевского, главным образом связанные с защитой детей. Известно, как Достоевский, напечатавший в своем «Дневнике» рассказ «Мальчик у Христа на елке», создавший образ Мари и швейцарских детей вокруг Мышкина, тянулся к детям. «Через детей душа лечится» (8: 58), – говорит его Мышкин. «С особенной симпатией он относился к детям...» – пишет в своих воспоминаниях о Достоевском А.П. Милюков, – следил за детскими играми, входил в их интересы, вслушивался в их наивные разговоры¹³¹». О том же говорится и в других воспоминаниях. Деятель народного образования Х.Д. Алчевская пишет, что в день его похорон она повела детей в церковь, предварительно рассказав им о писателе, который так любил детей, прочла им «Мальчика у Христа на елке»¹³²».

Взгляды Достоевского на воспитание детей вполне укладываются в два его кратких высказывания. Первое – в письме от 27 марта 1878 года (адресат письма не установлен): «Ваш ребенок 8 лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в Бога строго по закону. Это неременное условие, иначе не будет хорошего человека... Лучше Христа ничего не выдумаете» (30, кн. 1: 17). Второе – в «Дневнике писателя» 1877 года: «Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших... Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними» (25:193).

Готовясь к своему последнему роману, он писал: «Детей будет выведено много. Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю» (30, кн. 1: 12).

А.А. Толстая вспоминает один свой разговор с И.С. Тургеневым. «Почему дети никогда не являются в ваших рассказах?» – спросила она его. Тургенев отвечал: «Ваше замечание меня тем более поражает, что оно сделано мне почти в первый раз, но оно совершенно правильно: я не люблю детей»¹³³. Даже если это не совсем правильно («Бежин луг»), ответ Тургенева знаменателен.

В связи с «Дневником писателя» еще более, чем письма самого Достоевского, интересны письма к нему читателей.

«Как Ваш читатель и почитатель, в «Дневнике» Вашем находящий отклик движениям своего сердца... долгом считаю сообщить Вам следующий горестный факт, с полной надеждой услышать слово вразумления», – пишет ему в ноябре 1876 года М.А. Юркевич. «Горестный факт» – самоубийство 12-летнего мальчика.

Вот еще письмо (1877 год, автор – О. Антипова): «Мне семнадцать лет, г. Достоевский... я еще совсем не образована, то есть так-таки почти что совершенно, я только начинаю, и кончаю тем, что опять начинаю, скажите, какое утешение! Начинать и ждать, и больше ничего, между тем мне страшно нетерпеливо, давным-давно хочется видеть себя уже... как бы вам сказать, действующей что ли... Может ли человек жить, когда видит всю недостойность жизни, когда ему осталось только презрение к своей несчастной личности... Я убеждена в Вашей снисходительности, г. Достоевский, Вы единственный можете понять каждое состояние человека». Дальше читательница О. Антипова писала о евангельских сомнениях, о семейном разладе.

Живые люди стучали в дверь. России нужна была помощь, ей нужен был в те теперь уже далекие годы человек, который не пропустит момента, «когда возмутится вода». И вот мы видим, с

¹³¹ Милюков А. П. Воспоминания о Достоевском//Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 326.

¹³² Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое. М., 1912. С. 84–91. Записывая впечатления 1876 года, Алчевская замечает: «Разговор перешел на религию. Достоевский искренно и глубоко верит в Бога».

¹³³ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. 1857–1903. С. 18.

какой серьезностью, смирением и страхом осознал Достоевский свое особое положение. Ведь все эти сотни людей, сотни писем, написанных по следам его романов и его «Дневника», шли не к «правлящим архиереям», а к нему, петербургскому литератору, еще недавно игравшему на рулетке в Висбадене, человеку, искренне считавшему себя и несомненно бывшему и грешным, и неумелым. «Вам дружески признаюсь, – пишет он И.С. Аксакову в 1880 году, – что, предпринимая с будущего года «Дневник»... часто и многократно на коленях молился уже Богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное, независтливое» (30, кн. 1:227).

Трудно сказать, где тяжелее была его ответственность: в печатном слове «Дневника» или в непосредственном общении с людьми. В этом смысле весьма знаменательна посмертная редакционная заметка о нем «Исторического вестника», нечто вроде некролога. «Ему случалось выслушивать исповеди самые сердечные, какие редко приходится выслушивать духовнику; ему случалось проводить целые вечера глаз на глаз с юношами, которые решались на самоубийство и отцы которых упросили их поговорить с Достоевским¹³⁴».

Какая же духовная власть уже возникала в его душе, которая сама была «вся буря и беспорядок» (9: 128)? Или в ней, несмотря на все его грехи и недостатки, уже жил какой-то малый луч того мира, который один только и может помочь людям, по слову преподобного Серафима: «Стяжи, радость моя, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся»? Можно сказать, во всяком случае, одно: в 70-х годах прошлого столетия, наверно, только три человека в России вели христианскую проповедь в таком широком общественном масштабе: Амвросий Оптинский, Феофан Затворник и Достоевский, хотя такое сопоставление, может быть, и покоробит некоторых церковных людей.

Современник Достоевского, Е.Н. Опочинин, рассказывает о встрече со священником о. Алексием – миссионером, обращавшим китайцев в православие, распространяя среди них изображения Будды с Младенцем Христом на руках. Этот священник сказал ему, что Достоевский – это вредный писатель. «Тем вредный, что в произведениях своих прельстительность жизни возвеличивает и к ней, к жизни-то, старается всех привлечь. Это учитель от жизни, от плоти, а не от духа. От жизни же людей отвращать надо, надо, чтобы они в ней постигали духовность, а не погрязали по уши в ее прелестях. А у него, заметьте, всякие там Аглаи и Анастасии Филипповны... И когда он говорит о них, у него восторг какой-то чувствуется... Одно могу вам сказать: у писателя этого глубокое познание жизни чувствуется, особенно в темнейших ее сторонах. В «Бесах», например, возьмите хоть бы Ставрогина. Ведь это какой-то подходящий блуд (я тут же решил непременно передать это определение Федору Михайловичу). И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие. В «Дневнике» своем он весь высказался». «Я, – заключает Опочинин, – пытался возражать, но отец Алексей не принял ни одного из моих доводов и продолжал громить Федора Михайловича и дошел чуть не до анафемы. Я не выдержал и ушел».

Можно обрадовать современных неверующих литературоведов, старающихся умалить христианство Достоевского в нахождении этого первоисточника их рассуждений. Христианству Достоевского, так же как христианству Зосимы, не верят все, в ком силен дух Ферапонта, то есть дух неверия в евангельского Христа. Иногда слышишь и такие слова: «Читать Достоевского – тяжелый, раздражающий труд¹³⁵». Что можно сказать на это? Разве нам не гораздо труднее читать Евангелие? «Слово о кресте для погибающих юродство есть», – сказал апостол, то есть уродство, нечто непереносимое и неприемлемое. «А для спасаемых – сила Божия». Конечно, очень легко обрести

¹³⁴ К портрету Ф.М. Достоевского // Исторический вестник. 1881. № 3. С. 482.

¹³⁵ Штакеншнейдер Е. А. Дневники и записки (1854–1886). С. 458.

Христа и без Достоевского: «Дух дышит, где хочет». Но как же не видеть, что множество людей обрело Христа или укреплялось в Христе все же именно через Достоевского.

В воспоминаниях его современницы О. Починковской написано: «Его слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать – женщину пламенной веры, когда-то страдавшую за мое «неверие»... и я точно возвращалась теперь из Петербурга домой, и этот дом мой – были христианские мысли Ф.М. Достоевского¹³⁶». Сколько раз с тех пор совершалось то же самое? А сопоставление Достоевского с учителями Церкви совсем не имеет в виду возвышение его на какую-то учительную высоту. Он сам бы пришел от этого в ужас.

Кроме учителей Церкви, были в первые ее века еще так называемые «катехизаторы» – наставники основ христианства для пока только ищущих Церкви и ее крещения. Таким катехизатором интеллигенции и был, и есть Достоевский, и сопоставление его с о. Амвросием или епископом Феофаном говорит только о широте его значения для ищущих веры.

Но разве мы, так уверенно и спокойно считающие себя уже ее обладателями, – разве мы не учимся тоже у него многому? Ведь так часто мы, церковные люди, не знаем самых основ веры. Что же касается тех людей, для которых нужна уже только «твердая пища» апостола Павла, то их, наверное, очень мало. Многие только притворяются, что они такие. Когда же они действительно будут такими, тогда они невольно и естественно и без пренебрежения к оставленному будут питаться душевно уже не Достоевским, но Словом Божиим и словами Отцов, писавших в озарении Духа.

В монастырской библиотеке Оптиной пустыни когда-то хранился экземпляр книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» с вложенным в нее отзывом одного духовного лица, очевидно очень авторитетного для оптинских старцев. Отзыв переписан рукою старца Макария. «Книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы истины, – говорится в отзыве. – Тут смешение... По сей причине советую всем друзьям моим заниматься чтением святых Отцов, стяжавших очищение... которые сообщают читателям вдохновение Святого Духа»¹³⁷.

Конечно, и в Достоевском есть какое-то «смешение» – очень нужного с больным или неочищенным. Но думается мне, что и люди, уже не нуждающиеся в чтении его романов, должны быть всегда благодарны этому человеку, ударившему на весь мир в тревожный колокол веры.

В московском Музее Достоевского лежит под стеклом выцветший кусочек дневника учащейся петербургской школы. В начале февраля 1881 года, после похорон Достоевского, она записывает: «Умер любимый писатель русской молодежи – Достоевский... Как ужасно поразила нас всех его неожиданная смерть... Хорошо умереть, заслужив такую любовь»¹³⁸.

Глава IX. Оптина пустынь

В предисловии к «Письмам Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к монашествующим», изданным в 1908 году, говорится, что письма «напомнят знаменитый роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и покажут, что изображенный там старец Зосима не один только плод фантазии художника, а живое лицо, заимствованное из действительности»¹³⁹. Мы знаем, что в одном курсе богословия Достоевскому отведен целый отдел на тему пастырского изучения людей по его произведениям¹⁴⁰. Но ссылка на его имя в оптинском издании писем для монашествующих, а тем более

¹³⁶ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. Т. 2. С. 132.

¹³⁷ Цит. по: Богданов Д. П. Оптина пустынь// Исторический вестник. 1910. Окт. С. 334.

¹³⁸ Новое время. 1881. Февр. № 1/3. См. газетный отчет о похоронах Ф.М. Достоевского: «Петербург провожал своего любимого и так много... любившего писателя».

¹³⁹ Собрание писем Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к монашествующим. Сергиев Посад, 1909. Вып. 1. Предисловие (без пагинации).

¹⁴⁰ См.: Антоний (Храповицкий), архиеп. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 2. С. 463–495.

указание на Зосиму как на «живое лицо, заимствованное из действительности», кажутся мне более знаменательными и драгоценными.

Обычно считается, что прототипом старца Зосимы послужил Достоевскому отец Амвросий, но это не совсем так. Конечно, живое общение летом 1878 года с великим оптинским старцем, окруженным людьми, приехавшими к нему со всей России, окончательно закрепило в нем образ русского святого – наставника, утешителя и печальника для страдающего и грешного человечества. Но и без оптинской встречи Достоевский был уже подготовлен к этому образу – не только в смысле своего общецерковного знания, но и через две книги, непосредственно рассказавшие ему об оптинских старцах. Иногда указывают на рукописное «Историческое описание Скита при Оптиной пустыни», где даны фигуры старца Леонида и его завистника схимника Вассиана, как на возможный материал для соответствующих фигур Зосимы и Ферапонта. Но даже если допустить, что Достоевский видел эту рукопись, все равно те две книги, о которых я буду говорить и которые были в его личной библиотеке, могли дать ему несравненно больше.

Первая книга – это, конечно, «Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения». Книга, неоднократно упоминаемая в письмах и записных книжках, бывшая с ним, когда создавались «Идиот» и «Бесы», книга, «иногда перечитываемая» им, по свидетельству Анны Григорьевны¹⁴¹. Инок Парфений в сентябре 1841 года был в Оптиной у старца Леонида, и об этом он подробно рассказывает в своей книге. Достоевский уже в 1870 году обратил внимание на это оптинское место книги Парфения, взяв из нее для «Бесов» эпизод со златницей для сцены с юродивым Семеном Яковлевичем. Мы не знаем, как отразилось на этой сцене посещение Достоевским известного московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши, на что указывает Анна Григорьевна, но вот как описывает Парфений сцену приема посетителей старцем Леонидом, иногда тоже как бы юродствовавшим:

«Между этими людьми, – пишет Парфений, – стоял перед ним (перед о. Леонидом. – С.Ф.) на коленях один господин... Старец спросил: «А исполнил ли ты, что я тебе прежде приказал?» Тот ответил: «Нет, отче святой, не могу того исполнить». Старец сказал: «Зачем же ты, не исполнивши первого, пришел еще и другого просить?» Потом грозно сказал ученикам своим: «Вытолкайте его вон из келии». И они выгнали его вон... Потом один из учеников сказал: «Отче святой, на полу лежит златница». Он сказал: «Подайте ее мне». Они подали. Старец сказал: «Это господин нарочно выпустил из рук...» И отдал мне полуимпериял¹⁴².

У Достоевского в «Бесах» из этого сделано следующее:

«- Спроси! – указал... Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях.

Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику.

– Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить?

– Не драться, рукам воли не давать, – сипло отвечал помещик.

– Исполнили? – спросил монах.

– Не могу выполнить, собственная сила одолевает.

– Гони, гони! Метлой его, метлой! – замахал руками Семен Яковлевич. Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты.

– На месте златницу оставили, – провозгласил монах, подымая с полу полуимпериял.

– Вот кому! – ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич» (10:259).

У Парфения, кстати, этот эпизод со златницей, почти не завуалированно взятый в роман, оканчивается так: «Потом я спросил старца: «Отче святой, за что вы весьма строго поступили с

¹⁴¹ См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 295.

¹⁴² Сказание о странствии и путешествии... инока Парфения. Ч. I. С. 281–282.

господином?» Он же отвечал мне: «Отец афонский! Я знаю, с кем как поступать: он раб Божий и хочет спастись, но впал в одну страсть, привык к табаку... Вот сколько трудно из человека исторгать страсти...» Потом паки приходил господин и просил у старца прощения со слезами. Он же простил и приказал исполнять то, что приказано было прежде».

Образ самого автора книги – странствующего по монастырям монаха Парфения – дал Достоевскому и идею «захожего монашка» в «Карамазовых», только он наполнил ее другим содержанием.

Для Зосимы из «Братьев Карамазовых», как мы уже видели, много дали Достоевскому не оптинские, а афонские монахи: Арсений, Николай, Аникита и др. В Оптину пустынь книга Парфения только приоткрывала дверь. Целиком вводила в нее другая книга: «Жизнеописание отца Леонида»¹⁴³, того самого, у которого получил полуимператор Парфений. Установлено, что эта книга была в библиотеке Достоевского, вместе с книгами Симеона Нового Богослова, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Парфения, Филарета, Хомякова, Самарина и другими¹⁴⁴. Иеросхимонах Оптиной пустыни Леонид, в схиме Лев, умерший в 1841 году, вскоре после посещения его Парфением стал основателем оптинского старчества, без которого мы не представляем себе религиозной жизни России XIX века. О прототипах Зосимы кое-что, то есть немного, рассказал автор «Братьев Карамазовых». «Взял я лицо и фигуру (Зосимы. – С.Ф.) из древнерусских иноков и святителей... Эта глава («О Священном Писании в жизни отца Зосимы») – восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского» (30, кн. 1: 102). «Подобный переполох (глава «Тлетворный дух». – С.Ф.), какой изображен у меня в монастыре, был раз на Афоне и рассказан вкратце и с трогательною наивностью в «Странствовании инока Парфения» (Там же: 126).

В монастыре, описанном в «Братьях Карамазовых», даны две основные фигуры монашествующих: светлая – Зосимы, и темная – Ферапонта. Противоположение сделано вполне закономерно, так как и тот и другой тип исторически верен. «Считаю, – писал Достоевский, – что против действительности не погрешил: не только как идеал справедливо, но и как действительность справедливо» (Там же: 102). «Сделаю дело хорошее: заставляю сознаться, что чистый, идеальный христианин – дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее» (Там же: 68).

В «Жизнеописании» о. Леонида прежде всего «воочию предстает» Ферапонт романа, что для понимания Достоевского особенно важно. В книге рассказывается об одном валаамском монахе Евдокиме, который «уповал достигнуть духовного преуспевания одними внешними подвигами... не замечал в себе ни кротости, ни любви, ни слез, ни смирения. Напротив, сухость, жестокость души, зазрение (осуждение) всех и другие, хотя и скрывающиеся, страсти томили старца. Он не находил себе покоя, хотя исполнял все должное... и помыслы склоняли его к самоубийству»¹⁴⁵. Здесь же приведено письмо о. Леонида в связи с каким-то другим подвижником «высокого жительствова». «О жизни монашеской, – пишет о. Леонид, – не всяк может здраво судить. А об В-не пусть думают, как кому угодно, и ублажают его высокое жительство, но мы к оному веры не имамы и не желаем, дабы кто следовал таковой его высоте, не приносящей плода. «От плод бо их, – сказано, – познаете их». А плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание и прочее. Сожалеем об нем, желаем ему прийти в познание истины»¹⁴⁶. Дальше в «Жизнеописании» рассказывается, как о. Леонид вразумлял и других монахов, надеющихся на свои высокие подвиги, как снимал с них вериги и учил смирению, этой «предтече любви». Но кроме ношения вериг и иного телесного

¹⁴³ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. М., 1875.

¹⁴⁴ См.: Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского: По неизданным материалам. Одесса, 1919. С. 154.

¹⁴⁵ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 7–8.

¹⁴⁶ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 55.

подвижничества, карамазовский Ферапонт дан Достоевским и как «духовидец», как мистически одаренный.

«- А что, великий и блаженный отче, – спрашивает его в романе захожий монашек, – правда ли... будто со Святым Духом непрерывное общение имеете?»

– Слетает. Бывает.

– Как же слетает? В каком же виде?

– Птицею...» (14: 154).

Можно было бы возмутиться и обвинить Достоевского в нехорошей выдумке, если бы в «Жизнеописании» со всей честностью христианской, оптинской мысли не был приведен рассказ о посещении о. Леонидом Софрониевой пустыни. «В то время, – читаем мы, – там жил в затворе (в саду. – С.Ф.) иеросхимонах Феодосий (Ферапонт жил за пасекой. – С.Ф.), которого многие почитали духовным мужем и прозорливцем, так как он предсказал и войну 12-го года, и некоторые другие события. Отцу Леониду его устройство (духовное) показалось сомнительным. Он спросил его, как тот узнаёт и предсказывает будущее. Затворник отвечал, что Святой Дух ему возвещает будущее: и на вопрос старца Леонида – каким образом возвещает? – объяснил, что Дух Святой является ему в виде голубя и говорит с ним человеческим голосом. Отец Леонид, видя, что это явная прелесть вражия, начал предостерегать затворника, но тот оскорбился... Отец Леонид удалился и, уезжая из обители, сказал настоятелю: «Берегите вашего святого затворника, как бы с ним чего не случилось». Едва о. Леонид доехал до Орла, как узнал там, что Феодосий удавился».

Таким образом, «Жизнеописание» дало Достоевскому, во-первых, портреты живых Ферапонтов русской действительности XIX века, а во-вторых – и это еще более важно, – право уверенного и беспощадного их разоблачения: до него их уже разоблачили оптинские старцы¹⁴⁷. Достоевский увидел, что ферапонтовское монашество есть не только факт, но факт, осуждаемый Церковью. Узнать об этом, таком близком по времени осуждении, для него было очень важно, даже если он знал, что этот вид внутрицерковного заблуждения подвергался такому же резкому осуждению у древних Отцов Церкви, например у преподобного Никиты Стифата, ученика преподобного Симеона Нового Богослова (XI век), книга которого стояла на полке у Достоевского.

«Многие из верных и ревностных христиан, – пишет преподобный Никита, – тела свои многими подвижническими трудами и телесными деланиями измождали... но как они при сем не имеют умиления от сокрушенного и благолюбивого сердца, и милосердия от любви, то оставлены пустыми... и удаленными от истинного познания Бога, имея мысленные ложесна свои неплодными и слово бессольное и бессветное»¹⁴⁸. Достоевский в создании Ферапонта мог опереться не только на «Жизнеописание» о. Леонида, но и на общее учение Церкви, начиная с евангельских обличений «неплодной смоковницы» и лицемерного законничества.

Теперь нам все это до очевидности ясно, но, чтобы почувствовать ту помощь, которую оказал Достоевский в формировании сознания нашей церковной эпохи, достаточно привести одну недоумевающую фразу из современной Достоевскому критической литературы, считавшей себя церковной. «Отшельник и строгий постник, Ферапонт... почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо»¹⁴⁹, – писал К. Леонтьев – человек, который по своему оптинскому «стажу» должен был бы понять – почему.

Ферапонтам монашеской действительности противостоит в «Жизнеописании» образ старца Леонида, и тут использование материала Достоевским не менее ясно. «Жизнеописание» говорит, что

¹⁴⁷ В определении ферапонтовщины и в ее изобличении как нехристианства мог помочь Достоевскому все тот же Парфений еще ранее 1870 года. См., например, его «Сказание о странствии...» (Ч. I. С. 4–8).

¹⁴⁸ Добротолюбие. М., 1900. Т. 5. С. 159.

¹⁴⁹ Леонтьев К. Н. О всемирной любви. С. 297.

это был «подвижник великого сердца», что он был «вдохновен духом христианской любви» и оставил свое безмолвие, движимый «духовной любовью к страждущим и немощным братьям», что его жизнь в монастыре была «служением страждущему человечеству¹⁵⁰». Вспомним, с каким терпением изнемогающий от своего служения человечеству Зосима выслушивает даже скоморошество Федора Павловича и его перебранку с Миусовым. Служение людям – основная мысль, которую Достоевский вложил в старца Зосиму.

Но сходство видно не только в основной идее, но и во множестве личных черт.

Старец «Жизнеописания» – о. Леонид, был настоящий монах, представитель, как любят говорить литературоведы, «аскетического христианства», и в то же время «нельзя было не дивиться его всегдашней веселости». Вспомним слова Зосимы из романа: «Други мои, просите у Бога веселья» (14:290). «Спокойствие, младенчество евангельское и христианская радость никогда не оставляли чадолюбивого старца», – продолжает «Жизнеописание», и мы опять вспомним роман. «Мудрость свою он (о. Леонид. – С.Ф.) прикрывал простотой слова и простотой обращения и часто растворял наставления свои шутливостью». Вспомним главу романа «Братья Карамазовы» «Верующие бабы». «Учениками (его) не могли быть лукавые люди или политики: они не выдерживали его взгляда и хотя прилеплялись к нему, но не надолго. Сжавши сердца, они скоро отбежали от этого ученика Христова, увидев, что притворная вежливость и лживая почтительность непригодны для кельи старца, где воцарилась духовная простота и младенчество христианское». Все виды притворного смирения и фальшивого благоволения, «восторгов» целования плеча и рук старец Леонид не терпел и называл их «химерою». Можно подумать, что это пишет Достоевский о Зосиме, свободном от всякой фальшивой елейности.

Будучи строгим постником, о. Леонид умел соединять это со свободой в еде и в обращении с людьми. «Пищу старец, – говорит «Жизнеописание», – вкушал дважды в сутки, что Бог посылал, пил иногда рюмку вина или стакан пива». Вот откуда могла возникнуть реплика Ферапонта о Зосиме: «Постов не содержал по чину схимы своей, потому и указание вышло... Конфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили» (14: 303). За трапезою о. Леонида «шла обыкновенно оживленная беседа, позволялись скромные и незлобивые шутки и рассказы... Старец иногда рассказывал анекдоты из римской истории, которую знал хорошо из старинных переводов Тацита. Одного из своих учеников шутя называл последним римлянином, может быть, потому, что этот ученик выражал мнение, что мы переживаем последние времена монашества»¹⁵¹.

Ферапонт Достоевского выведен великим противником старчества. И это взято из «Жизнеописания», полного данных о гонениях на о. Леонида за старчество, введенное им в Оптиной. Дело, оказывается, дошло до того, что о. Леонида и его учеников стали подозревать в ереси и даже в «масонстве», причем подозревали и гнали его такие влиятельные лица, как два архиерея – Тульский и Калужский. Только вмешательство двух Филаретов – Киевского и Московского – и заступничество Игнатия (Брянчанинова) спасли старца. И само учение о старчестве, данное Достоевским в романе (глава 5, книга 1), во многом взято из «Жизнеописания».

Строгое отношение Церкви к самоубийцам хорошо известно: за них не молятся в общественном богослужении, и отсюда принято, что за них вообще нельзя молиться. Поэтому отношение к ним Зосимы могло показаться тоже вольностью или выдумкой литератора, и только. «Мыслью в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится вель Христос» (14: 293), – говорит Зосима. У старца Леонида, как и у Зосимы, был молодой послушник Павел Тамбовцев, который умер 26 лет, вскоре после того, как его отец окончил жизнь самоубийством (в семье Алеши случилось и самоубийство и убийство). Старец дал Павлу молитву об отце, начинающуюся так: «Взыщи, Господи,

¹⁵⁰ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 63, 60, 45.

¹⁵¹ Там же. С. 80.

погибшую душу отца моего (и) еще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя»¹⁵². Так что выходит, и в этом вопросе «розовое христианство» Достоевского ближе к оптинскому монашескому духу, чем выдуманное «черное православие» Леонтьева.

В романе есть характерная деталь: оказывается, Зосима кроме молитвы (как средства духовного), применял для лечения людей и обычные медицинские средства («...покойник, святой-то ваш... чертей отвергал. Пурганцу от чертей давал» (Там же: 303), – кричит Ферапонт). Очевидно, эта подробность взята из «Жизнеописания»: о. Леонид применял иногда народные медицинские средства и даже сам изготовлял одно лекарство и давал его больным.

Одна из главных идей Зосимы – это стирание грани между миром и монастырем, слияние их и созидание незримого монастыря в миру. Алешу старец отправляет в мир не для обмирщения, а для подвига, но среди мира. «Благословляю тебя на великое послушание в миру. <...> Мыслию о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок» (14: 71, 259), – говорит Зосима. Эта идея владела Достоевским уже в 1870 году, когда он, работая над «Бесами», создавал образ «архиерея на покое» Тихона и записывал его разговор со Ставрогиным, то есть задолго до выхода «Жизнеописания». Отправной темой ему могли послужить факты тайного пострига, всегда существовавшие на Востоке; некоторые, может быть, ему известные факты жизни Шидловского, тоже отправленного своим старцем из монастыря в мир, мысли древних подвижников, например преподобного Ефрема Сирина, книга которого была в библиотеке Достоевского. «Монаха делают, – пишет преподобный Ефрем, – не пострижение и одеяние, но небесное желание и божественное житие»¹⁵³. Наконец, все первохристианство есть великий монастырь в миру.

Но, готовя материал для «Братьев Карамазовых», Достоевский наверное был обрадован, найдя в «Жизнеописании» такие слова о. Леонида о тайном, или внутреннем, монашестве: «Если ты облечешь себя о Христе во образ внутреннего инока, то не беспокойся много о внешнем образе, хотя и непогрешительно желать его... Множество окажется монахов единственно по произволению, хотя они в здешнем мире не могли, по судьбам Мироправителя, быть постриженными от рук смертных. Преподобная Пелагея сделалась преподобною, хотя и не была облачена в мантию от человеков. Мантия означает тесноту, обещание вольной нищеты, чистоты, послушания и смирения монашеского жития; но мантия внутреннего облачения есть священнейшее возложение одежды Святого Духа»¹⁵⁴.

Вот какого человека нашел Достоевский до того, как начал писать Зосиму, – человека, который «болел любовью к ближнему» и который, наверное, через эту боль, как сказано о нем в том же «Жизнеописании», «повеселел детскою евангельскою радостью». Узнав об о. Леониде, Достоевский увидел, что еще совсем недавно, когда он в Петербурге вел свои ночные разговоры с Шидловским, здесь, в Оптиной, жил человек, так близко отвечавший его представлению о христианской святости, один из тех «десяти праведников» (Быт. 18, 20–32.), на поиски которых он был уже так давно устремлен. О них он думал, создавая «Идиота», их черты он нашел в образе Тихона Задонского, создавая «Бесов» и Макара из «Подростка».

Значит, действительно начиная с Пятидесятницы по темноте истории идет единая и ослепительная полоса света – святая Церковь Божия, никак не соединяемая с тем, что только носит имя ее или внешнюю форму ее, хотя бы в виде монашеских одежд. Это и есть непрекращающееся первохристианство, неизменяемое во веки веков. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же», а с Ним все та же и Церковь Его. В этом так было нужно убедиться Достоевскому, утомленному зрелищем темноты внутри церковной ограды. Отделить Зосиму от Ферапонта значило для него (и

¹⁵² Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 75.

¹⁵³ Добротолюбие. Т. 2. С. 451.

¹⁵⁴ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 168–169.

теперь значит для всех нас) – отделить Церковь от ее двойника, а тем самым утвердить свою веру, понять еще раз, что «не умирает великая мысль» (26: 164).

Отделяя Зосиму от Ферапонта и противопоставляя их, Достоевский не выдумывал, как его заподозрили, «нового христианства» – «зосимовского» или даже «Мережковского», а только нашел, где припасть устами к его древнему и вечно живому источнику. Это «где» был русский монастырь Калужской епархии.

Тогда становится понятно, почему незадолго до «Братьев Карамазовых» он так твердо писал о сектах в «Дневнике писателя» 1876 года: «Кто отстал от истинной Церкви и замыслил свою, хотя бы самую благолепную на вид, непременно кончит тем же, чем эти секты» (22:99). «Для самых благородных целей и стремлений нельзя тоже, – писал Достоевский М.П. Погодину еще в 1873 году, – и исказить христианство, то есть смотреть на православие, по крайней мере, как на второстепенную вещь» (29, кн. 1: 263). Оптиная пустынь, где писатель нашел своего Зосиму, была обычным православным монастырем. Необычно в ней было только то, что на фоне общего оскудения веры и внутренней духовной жизни России, в том числе и в монастырях, в ней эта жизнь в XIX веке, наоборот, расцвела. И этот расцвет был основан на том, что люди, жившие в ней, принимали христианство «всерьез», по-евангельски, а не как благочестивую внешность и восстановили в своем монастыре древний дух истинного подвижничества, то есть труда любви в простоте сердца.

В «Жизнеописании» про о. Леонида говорится: «По простоте христианской веры и смирению, по претерпенным им скорбям и духовным дарованиям он был яко один из древних... Некто из присных учеников старца, видя его однажды в особенно веселом и откровенном расположении, спросил его: «Батюшка! как вы захватили такие духовные дарования, какие мы в вас видим?» Старец отвечал: «Живи попроще, Бог и тебя не оставит». Потом прибавил: «Леонид всегда был последним в обителях; никогда ни от какого поручения настоятеля не отказывался. В навечерие великих праздников другие стремятся в церковь, а Леонида посылают на хутор за сеном для лошадей приезжих гостей; а потом усталого и без ужина посылают на клирос петь, и он безропотно повиновался. Старайся и ты так жить, и тебе Господь явит милость Свою».

Вот, оказывается, какие простые университеты проходил этот прототип Зосимы. Свойства иноков Оптиной росли на большом труде и смирении, на истинном подвиге так называемого «монашеского христианства», были результатом сердечного мужества и любви. Это была Пасха после Страстной.

В оптинских же источниках Достоевский мог найти и отношение Зосимы к природе. «Любите всё создание Божие, – учит он, – и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите» (14: 289). В «Историческом описании Козельской Оптиной пустыни», одно из изданий которого было в библиотеке Достоевского, даны сведения об умершем в 1861 году оптинском иеродиаконе Палладии, который «любил в ясную ночь смотреть на небо, на месяц и звезды и знал годовое положение многих из них... «Всё у Бога блюдет свой чин», – говорит он. Пойдет в лес: всему удивляется – каждой птичке, мушке, травке, листику, цветочку. Подойдет к какому-нибудь дереву – сколько о нем у него разговору, сколько удивления: удивляется, как всё повелением Божиим растет, как развертывается лист, как цветет цвет»¹⁵⁵.

Об этом оптинском монахе была заметка и в «Страннике» 1860-х годов. Настойчивое употребление в рассказе о Палладии уменьшительных слов – «листики», «травка», «цветочек» – типично не только для Зосимы, но уже и для Мышкина.

В эти же, 60-е годы в «Страннике» был помещен рассказ о «блаженной страннице Дарьюшке», интересный для нас в данном случае тем, что в нем упоминается случай, как она однажды во время

¹⁵⁵ Речь идет об издании: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Сергиев Посад, 1902.

своего странствия по России целовала землю, в порыве радости и благодарения Богу, эту землю создавшему и по ней ходившему. У Достоевского уже Марья Тимофеевна, в 1870 году, молясь, целует землю, а через десять лет эта черта передана Алеше. Достоевский свои образы наполнял опытом церковным или же своим опытом доходил до того же первоисточного опыта Церкви.

Некоторые исследователи считают, что материалом для создания образа Зосимы послужила Достоевскому книга «Жизнь в Бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы»¹⁵⁶, но это мнение неосновательно. Зосима этой книги относится к людям совсем иного религиозного склада, чем Зосима романа и о. Леонид Оптиной. Он монах – прежде всего «созерцатель», молитвенник, пустынный, или все время стремящийся от людей в пустыню. Зосима романа и о. Леонид Оптиной прежде всего христианские деятели – окормители людей. Сходство в офицерском прошлом Зосимы Достоевского и Зосимы данной книги недостаточно – так же, как и любовь к природе: эти черты слишком общие и присущи многим другим монахам, в частности Георгию Задонскому и Игнатию (Брянчанинову), которые, кстати, тоже были до монашества офицерами.

Уж если надо искать литературные источники, которые могли дать Достоевскому материал для Зосимы помимо «Жизнеописания» о. Леонида, то это опять-таки будет оптинский материал. В 1862 году в «Русском вестнике», журнале, который, конечно, читал и в котором впоследствии печатался Достоевский, были помещены воспоминания о Гоголе Л.И. Арнольди. Гоголь сказал Арнольди об Оптиной: «Я на перепутье всегда заезжаю в эту Пустынь и отдыхаю душой. Там у меня в монастыре есть человек, которого я очень люблю... некто Григорьев, дворянин, который был прежде артиллерийским офицером... и говорит, что никогда не был так счастлив, как в монастыре... Душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей. Нет, он, напротив, любит всех людей, как братьев. Он всегда весел, всегда снисходителен»¹⁵⁷. Примечательна общая внешняя черта Григорьева и Зосимы (прошлое офицерство) в связи с большим внутренним сходством: здесь общее совпало с частным. Так что и Гоголь помог Достоевскому в создании Зосимы через его сближение с Оптиной. Можно сказать, что Оптина шла к Достоевскому со всех сторон.

Зосима Достоевского полон оптинского материала. Тот теократический утопизм, который Достоевский добавил от себя к этому материалу, возможно, под влиянием Вл. Соловьева, указан мною в VII главе. Великим постом 1878 года Достоевский слушал лекции Вл. Соловьева о Богочеловечестве, а в мае у него умер маленький сын Алеша (вторая смерть детей). «Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича... – пишет Анна Григорьевна, – я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича»¹⁵⁸. Поездка состоялась (совместно с Вл. Соловьевым) в конце июня 1878 года. «Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни, – пишет Анна Григорьевна, – как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи Пустыни, где ему пришлось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым «старцем», о. Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление... Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый «старец». Наверное, этим провидчеством или прозорливостью о. Амвросия была predeterminedена сцена земного поклона Зосимы Мите Карамазову.

Об одном разговоре Достоевского со старцем Амвросием мы можем иметь некоторое представление. К словам Зосимы в главе «Верующие бабы» («...вот что мать... это древняя «Рахиль плачет») (14:45–46) Анна Григорьевна делает такое примечание: «Эти слова передал мне Федор

¹⁵⁶ Жизнь в Бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. М., 1860. См. об этом: Гроссман Л. П. Примечания к роману «Братья Карамазовы» // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 472.

¹⁵⁷ Русский вестник. 1862. № 1. Янв. С. 54–95.

¹⁵⁸ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 346.

Михайлович, возвратившись из Оптиной пустыни: там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и плачем по недавно умершему нашему мальчику. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу «помянуть на молитве Алешу» и «печаль мою». В романе Зосима так говорит плачущей бабе, потерявшей сына: «Это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет», и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И... не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой – есть единый от ангелов Божиих... Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну» (14:47). Так мог говорить только «власть имеющий».

«Жизнеописание» о. Леонида подтверждалось Достоевскому в о. Амвросии. Поэтому не удивительно, что эта поездка дала такой толчок в работе над «Братьями Карамазовыми»: в июне еще ничего не было написано, а уже к декабрю были готовы первые десять печатных листов романа, которые и были опубликованы в январской книжке «Русского вестника» за 1879 год.

Оптина была, как говорит Анна Григорьевна, «давнишней мечтой» Достоевского. Действительно, он узнал о ней из «Жизнеописания» о. Леонида, или еще раньше, то есть не позднее 1870 года, – из книги Парфения, или даже еще раньше – из воспоминаний Арнольди о Гоголе.

Одну из своих поездок в Оптину в 1850 году (первый год каторги Достоевского) Гоголь так описывает в письме А.П. Толстому от 10 июля 1850 года: «Я заезжал на дороге в Оптиную пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не спрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше»¹⁵⁹.

Мы, посещавшие Оптину на ее закате, в начале 20-х годов нашего века, знаем по себе это ее «участие к человеку», о котором пишет Гоголь. В «Жизнеописании» о. Леонида оно так описывается: «Великое зрелище человеческих страстей и бедствий, которых он был ежечасным слушателем и в которых принимал искреннее христианское участие, извлекало из него глубокие, глубокие вздохи, слезы, потрясая всю внутренность его. И тогда обращенный к Господу вздох или взор к иконе Божией Матери, перед которой теплилась неугасимая лампада, заменяли ему устную молитву»¹⁶⁰.

В Оптиной жили настоящие монахи, но свою жизнь и свои слезы они не отделяли от жизни и слез скорбящего мира. В этом и была особая легкость и радость этого удивительного монастыря. В Оптиной жили люди, отдавшие Богу не «два рубля» (14: 25), как все боялся Алеша, а всю свою жизнь и, главное, всю свою любовь. Это были люди со святым сердцем – с сердцем, «милующим всякую тварь»¹⁶¹.

¹⁵⁹ Письмо Н.В. Гоголя А.П. Толстому от 10 июля 1850 года // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 14. С. 194–195. В письмах Гоголя есть и другие упоминания Оптиной пустыни.

¹⁶⁰ Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. С. 88.

¹⁶¹ В письмах Л. Н. Толстого есть такая оценка одного оптинского монаха, помогающая понять, почему крупнейшие писатели XIX века – Гоголь, Достоевский, Толстой – так тянулись к этому монастырю. «В Оптиной пустыни, – пишет Толстой, – в продолжение более 30 лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но, постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал благодарность Богу и радость за эту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и трудно представить себе все добро, которое распространилось от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверно, этот человек сделал больше добра, чем тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру» (Письма Л.Н. Толстого. М., 1911. Т. 2. С. 206). Хочется отметить, что это писалось Толстым в 1902 году, то есть в эпоху, казалось бы, расцвета его антицерковных идей. Потомки – чужая душа, а тем более душа Толстого. Но не есть ли эта запись – луч, освещающий причину предсмертной попытки Толстого уйти в Оптину?

Глава X. Борьба за Церковь

Вторым в «династии» светлейших оптинских старцев был авва Макарий, умерший в 1860 году, – ближайший ученик отца Леонида. Учеником и продолжателем Макария был Амвросий, которого и посетил Достоевский в 1878 году. В черновиках «Братьев Карамазовых» первое имя, которое носил старец задуманного романа, было совсем не Зосима, а, конечно, Макарий, и, введя это имя, автор сразу же наделяет его носителя таким высоким духовным даром, как прозорливость. Очевидно, только слишком явная подчеркнутость преемствования старца романа от Леонида Оптиной заставила автора в дальнейшем избрать имя, не встречающееся в списке оптинских старцев.

Влияние идей, которыми жило оптинское монашество, на создание образа Зосимы очевидно. Но оптинские старцы были только одними из многих святых, явленных и не явленных, возродивших в России XIX века и дух, и учение, и практику древнего подвижничества и первохристианства. Обычно в этом случае называют имена учеников Паисия Величковского. Но, кроме них, мы знаем имена Серафима Саровского, Илариона Троекуровского, Иоанна Сезеновского, Георгия Задонского, Филарета Глинского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника – и многих других, благодатным звеном соединявших Русскую Церковь со светлой неразрывностью Церкви Вселенской.

К этой Церкви духовно и прикоснулся Достоевский, причем вряд ли только через Тихона, Парфения и Леонида. Печатное «Сказание о жизни старца Серафима» было издано уже в 1845 году. В 1877 году одно из этих сказаний вышло уже третьим изданием. Письма Георгия Задонского, бывшего лубенского гусара, а затем затворника того же самого монастыря, где жил и умер Тихон Задонский («принятый» Достоевским «давно и с восторгом»), были в 1860 году изданы четвертым изданием. Все эти материалы открывали существование того же оптинского духа, вводили в ту же первохристианскую непосредственность общения людей с Богом, показывали, что такое действительно Церковь. Недаром уже в 50-х годах XIX века мог существовать такой неожиданный термин, как «оптинское христианство»¹⁶², в смысле противоположения чему-то внешнему, или формальному, «католицизму в православии». Оптинское христианство – это живая и радостная Вера апостолов и святых. Вот почему теперь для Достоевского стал возможен роман прямо о Церкви.

При совместной поездке с Вл. Соловьевым в Оптину перед началом писания «Братьев Карамазовых» Достоевский сообщил ему замысел и тему романа. Соловьев пишет, что «Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральной идеей нового романа»¹⁶³. В 1870 году были созданы одинокие фигуры епископа «на покое», Шатова и Марьи Тимофеевны. Теперь, через десять лет, дан уже многолюдный монастырь, дан святой, окруженный учениками, – дана церковная соборность.

В записной книжке Достоевского последних лет есть запись: «Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что Православие всё. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания: и уже навеки» (27:64). Роман о Церкви был тоже увенчанием здания: больше Достоевский как художник ничего не написал.

Мы уже знаем, как настойчиво и непрерывно развивалась христианская мысль Достоевского после 1865 года. И тексты романов, и материалы к ним, и «Дневник», и письма показывают накопление его опыта христианского мышления. Первый образ Церкви дан в 1870 году в «Бесах». В начале второй половины 70-х годов Достоевский снова говорит о Церкви. В связи с отрицанием ее у сектантов он написал притчу: «Все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «Слепцы! Чего вы сосуд целуете...

¹⁶² Термин «оптинское христианство» был употреблен в письме Н.П. Гилярова-Платонова к А.В. Горскому от 4 октября 1856 г. (См.: Русское обозрение. 1896. Дек. С. 997).

¹⁶³ Соловьев В. С. Три речи в память Ф.М. Достоевского // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 8 т. СПб., б.г. Т. 3. С. 197.

Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» И вот разбивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли» (25: 11).

Образ Достоевского близок к апостольскому определению Церкви как «Тела Божия», как «сосуда плоти», несущего кровь или святыню Богочеловеческой жизни.

Странник Макар в «Подростке», создававшемся в 1875 году, – один из наследников первоначального образа епископа Тихона. Перед смертью Макар передает свое завещание сыну Аркадию: «Ты, милый, Церкви Святой ревнуй, и еще позовет время – и умри за нее» (13: 330). А дальше, точно предвзяв завещание Зосимы – Алеше идти пока в мир, совершить еще какой-то большой путь, – Макар добавляет: «Да подожди, не пугайся, не сейчас <...> Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь, потом, может, подумаешь» (Там же).

Всеволод Соловьев вспоминает свой разговор с Достоевским, из которого видно, что автор исключительно высоко ставил своего Макара¹⁶⁴. Но все же не только через него открывает Достоевский в этом романе и свое искание истинно святой Церкви, и свою уже веру – любовь к Церкви. Там есть такой незначительный Тришатов. «Ах, Долгорукий, – говорит он Аркадию, – читали вы Диккенса «Лавку древностей»?.. Закатывается солнце, и этот ребенок (внучка. – С.Ф.) на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка – солнце, как мысль Божия, а собор, как мысль человеческая» (Там же: 353).

И для Достоевского, и для нас Церковь – собор – не богословская арифметика, а тоже как будто загадка, озаренная Божественным светом.

Роман «Братья Карамазовы» по его влиянию на интеллигенцию можно было бы назвать путеводителем к Церкви. Случайно ли он был той книгой, которую читал Толстой, кажется, за несколько часов до своего последнего ухода из Ясной, в ночь на 10 ноября 1910 года?¹⁶⁵ Может быть, и ему хотелось бы справиться о дороге в святой монастырь. Что для Достоевского все дело было в этом монастыре, в этом утверждении Святой Церкви, видно из его же слов. Посылая в редакцию шестую книгу романа, названную «Русский инок», он писал: «Смотрю, однако же, на эту книгу шестую как на кульминационную точку романа» (30, кн. 1:102). Одновременно он прямо заявляет в письме, что имеет те же мысли, какие выражает Зосима.

«Русские всегда ведь думают о Церкви, – писал Блок в 1918 году, – мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; то и другое с болью»¹⁶⁶. Церковь для многих сделалась камнем преткновения, так как ворота в нее были для них заслонены Ферапонтом. Но иногда не знаешь, где у людей кончается действительная трудность обретения Церкви и где начинается нежелание такого обретения. А нежеланию обычно сопутствует исключительная неосведомленность рассуждающих о Церкви в истинном существе ее святого организма.

Долинин в примечаниях к черновикам «Братьев Карамазовых» пишет: «Ферапонт – это византийство, доведенное до высшей точки, основа исторического православия, аскетического монашества как высшего церковного идеала»¹⁶⁷. Ферапонт оказался основой и вершиной Церкви! Что тут можно сказать? Но трудность отделения Церкви от ее двойника ощущалась и Достоевским. И более твердые в вере сознавали всю соблазнительность церковной действительности. В 1858 году один русский монах и богослов писал: «Своим более или менее формальным ревнованием, не столько о

¹⁶⁴ Соловьев Вс. С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском //Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 203–204.

¹⁶⁵ См.: Пузин И. П. Путеводитель по Музею Толстого. Тула. 1953.

¹⁶⁶ Блок А. Исповедь язычника // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 39.

¹⁶⁷ Долинин А. С. Тексты черновых записей к «Братьям Карамазовым». Комментарий //Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования. С. 366.

существо, сколько о букве Веры, и своей более или менее независимо от Веры действительной жизнью мы успели так омерзить путь Господень, что «Полный благодати и истины»¹⁶⁸ одним уже слухом о Себе пугает нас»¹⁶⁹.

Достоевский учился у Тихона, Парфения и Леонида еще до того, как приехал к Амвросию, но тут же рядом с ними были феодосии-ферапонты, которые подвижничали, пророчествовали, имели видения, претендовали быть носителями всей мистической стороны христианства. И Достоевский настораживается против мистики.

«Вникните в Православие, – пишет он в 1876 году в «Дневнике писателя», – это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, – по крайней мере, это главное» (23: 130).

И начиная свой роман об Алеше, он прежде всего отгораживает его от этой опасной мистической области. «Алеша был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец» (14: 17), – пишет про него автор. Дальше мы увидим, как безбоязненно вошел Достоевский с Алешей в область мистики и почему безбоязненно. Но пока что и прежде всего Достоевскому, нашедшему Зосиму, надо было отгородить его от Ферапонта, Церковь истинную от ее двойника.

Только утвердив реальную непорочность истинной Церкви, можно сохранять веру в нее. Верить можно только в Святыню. Тихон Задонский и в этом мог помочь Достоевскому своим учением о несмешении святыни Церкви с тем, что только носит имя ее. «Христиане, беззаконно живущие, – писал св. Тихон, – Бога не знают, хотя имя Его исповедуют, и молятся Ему, и в Церковь ходят, и Тайн Христовых приобщаются... Таковые все в смерти пребывают... Христианине, рассуждай, – имеишия ли внутри Церкви Святой? Церковь свята. Надобно быть и сынам ее святыми... Что бо пользы... числиться в Церкви пред людьми, но пред очами Божиими быть вне Церкви? Все беззаконники и в гордости и пышности мира сего живущие – вне Церкви имеются, хотя и хвалятся исповеданием имени Христова... Како возможно быть внутри Церкви Святой тому, который льстит, лукавит, похищает, ярится, хитрит, свирепеет, похотствует, злобится, гордится... Не внешний бо вид и образ, но внутренний нрав показывает человека. Невозможно неисправному и не очистившемуся покаянием христианину внутри Церкви Божией быть»¹⁷⁰.

Это учение об истинном и ложном, или только внешнем, пребывании в Церкви отсекало невыносимое сплетение добра и зла, истины и лжи в ограде Церкви и прекращало вековую провокацию церковного двойника. Никакой «внешний вид и образ» – в том числе монашеское звание или кардинальская одежда, видимость подвигов и мистических дарований, даже совершение таинств – еще не доказуют принадлежности к Святой Христовой Церкви, если при этом нет, как говорит св. Тихон, «внутреннего нрава», «духа Христова», по сказанному: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» – не Его Церкви. Ферапонт в свете этого учения оказывается не только не святым, но и вне Церкви вовсе.

Но сообразно с этим учением дело не только в Ферапонте. Разве не от холода его внутренней гордости идет то равнодушие к вере и оскудение всякого христианского подвига, тот сердечный холод и грех обмирщения, которые стали так характерны для людей, заполнявших перед глазами Достоевского церковную ограду?

¹⁶⁸ Ср.: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1,14).

¹⁶⁹ Письмо архимандрита Феодора (А.М. Бухарева) к протоиерею В.В. Лаврскому от 17 декабря 1858 г. // Письма архимандрита Феодора (А.М. Бухарева). СПб., 1917.С. 69.

¹⁷⁰ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т 4., С. 88.

Умирание христианства в истории предстало перед Достоевским не только в среде лужиных, тоцких, епанчиных, ставрогиных, Карамазовых, но и среди духовенства. Он создал два образа людей духовенства, приводящих к Церкви: Зосиму и Тихона – священника и епископа, – и потому имел право не любить то духовенство, которое от Церкви уводило.

Еще Врангель, вспоминая Сибирь 1854–1855 годов, писал: «Достоевский был скорее набожен (это за 25 лет до Зосимы! – С.Ф.), но в церковь редко ходил и попов, особенно сибирских, не любил»¹⁷¹.

«Духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже, – пишет Достоевский в 1877 году. – Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому, что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, – кроме этих, и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, – ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдалают от себя паству не соразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать» (25: 174).

Относительно доносов Достоевский имел особые основания возмущаться. В 1868 году он создавал образ Мышкина – одинокого христианского праведника, создавал в чужой и чуждой ему стране, за десять лет до поездки в Оптину. В августе 1868 года он пишет Майкову: «Письмо мое пропало... Петербургская полиция вскрывает и читает все мои письма, а так как женеvский священник, по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женеvском)... некоторые из писем, мною получаемых, задерживались... Каково же вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя... Дураки, дураки!.. Достоевского подозревают!» (28, кн. 2: 309). Известно, что полицейский надзор был снят с него только в 1879 году.

«Что слышно о духовенстве нашем?.. – писал Достоевский в 1876 году. – Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно – «трудящийся достоин платы», но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я конечно тоже; но как-то всё мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья» (22: 23–24).

Говоря о католическом духовенстве, князь Мышкин на вечере у Епанчиных сказал, что «атеизм от них вышел... Он укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия духовного!». Но так Достоевский думал не только о католическом духовенстве. Опочинин записал такие его слова: «Вера настоящая у нас одних и была, и есть – в народе, разумеется... А семинаристы чего только не изучают, а из них самые злые атеисты и кощуны выходят»¹⁷². Образ атеистического семинариста дан в Ракитине, и кто из нас не знает современных ракитиных?

Перед глазами Достоевского по духовенству равнялось и светское общество. «Я был в Духов день в русской церкви, – пишет он в июне 1875 года жене из Эмса. – Народу много, больше, чем я ожидал, но всё Бог знает кто. Дамы жеманничают, садятся на стульях и падают в обмороки. При мне в церкви три упали в обморок (от ладану и от духоты будто бы), а небось на бале пропляшет всю ночь или такой наворотит обед, что и двум мужикам было бы в сытость» (29, кн. 2: 36). «Теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит» (24: 50), – записывает он в «Дневнике писателя» в 1876 году. Вспомним почти такие же слова Тихона Задонского о ложных христианах,

¹⁷¹ Цит. по: Чехихин-Ветринский В. Е. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1923. Ч. 1. С. 76.

¹⁷² Опочинин Е. Н. Беседы с Достоевским. С. 479.

которые «Бога не знают, хотя... молятся Ему и в церковь ходят»¹⁷³. Тут дело, конечно, не в заимствовании. Одно и то же явление ужасало и архиерея XVIII века, и Достоевского.

В «Подростке» мы читаем, как Версиков – после попытки сначала убийства, а затем самоубийства, после всех своих гадостей с Ламбертом и после выздоровления – снова, как сказано в романе, воскрес, решил говеть, не говевши тридцать лет, начал поститься, два дня прекрасно говорил о религии, но вдруг все кончил, что-то ему не понравилось, и он признался: «Друзья мои, я очень люблю Бога, но – я к этому не способен» (13:447). «В тот же день, – повествует Аркадий, – за обедом уже подали ростбиф» (Там же). Так версиковским или ставрогинским ростбифом, их плотоядностью, кончались их попытки вылезти из болота и победить двойника. О двойнике Версикова прямо говорит Аркадий: «Настоящего сумасшествия я не допускаю... но «двойника» допускаю несомненно» (13:445–446). Тем и «гениальна», по выражению Достоевского, идея двойника, что через нее яснее всего виден XIX век, умирание христианской цивилизации. Двойник побеждал.

В «Подростке» же есть упоминание об игуменье Митрофании (в миру баронесса Розен), процесс которой за подделку векселей и завещания шел в 1874 году. Ограда Церкви все больше заполнялась людьми, по выражению Тихона Задонского, «беззаконно живущими». Их бытовая атеизм имеет в Церкви определенное название – обмирщение. В Церковь как Царство, по слову Христову, «не от этого мира» врывается стихия мира, «лежащего во зле». Если подвиг сохраняется, то только внешний – то есть вне любви. Подмена истинной Церкви – церковью ложной, обмирщенной и есть главная идея «Поэмы о великом инквизиторе».

По Достоевскому, «кардинал великий инквизитор» сажает Христа, пришедшего вторично на землю в «рабьем зраке», в темницу, а по мнению одного искренно верующего и в Бога и в Церковь средневекового монаха, он бы Его и распял вторично. Тут открывается еще одна религиозная параллель мышлению Достоевского: Савонарола. В его проповеди 1495 года есть такие слова: «Я говорю тебе: если бы теперь Христос явился вторично, Он был бы распят опять»¹⁷⁴.

В наброске вступительного слова к чтению «Поэмы» на одном из литературных вечеров в декабре 1879 года Достоевский именно так объясняет ее смысл. Приспособление христианства к целям этого мира, говорится в наброске, приводит к утрате всего смысла христианства и неизбежно к неверию. Это есть созидание вместо Царства Божия новой Вавилонской башни. Вместе с тем это переключение целей христианства с вечных на земные есть резкая замена его высокого взгляда на человека и человечество – взглядом на него как на звериное стадо, нуждающееся, по существу, только в хлебе и зрелищах. То есть тут, по мысли Достоевского, под видом социальной любви к человечеству является уже незамаскированное презрение к нему¹⁷⁵.

О переключении целей Церкви с вечных на земные так говорит в романе инквизитор Христу: «Обрати камни в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное... Но ты не захотел лишить человека свободы... ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?.. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою... Не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна... Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердца их снят наконец столь страшный дар» (14: 230–234).

К этому снятию всей тяготы любви и свободы с прибавлением хлебного, то есть социального, благополучия и сводится вся философия инквизитора и того человечества, от имени которого он говорит. Но снятие любви к Богу есть снятие и веры в Него. «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и

¹⁷³ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 88.

¹⁷⁴ См.: Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. СПб., 1913. Т. 1. С. 318.

¹⁷⁵ См.: Гроссман Л.П. Жизнь и труды Достоевского. М.; Л., 1935. С. 350351. См. также: 15: 198.

весь его секрет!» (Там же: 238) – воскликнул Алеша. И действительно, кардинал говорит, собственно, так же, как Версилов перед ростбифом: мы к этому – к любви и к свободе – не способны.

«Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист», – говорит Достоевский в своем предисловии к публичному чтению «Поэмы». Достоевский знал, что только любовью питается вера, а не чудом, только свободой любви питается подвиг, а не авторитетом. «Не чудеса склоняют реалиста к вере... – пишет он в романе. – Вера не от чуда рождается, а чудо от веры» (14: 24). Эта же мысль у Паскаля, кстати сказать, упоминаемого Достоевским еще в юношеских письмах 1838 года, а затем в «Бесах». «Наша религия, – пишет Паскаль, – и мудра, и безумна. Мудра потому, что она самая сведущая и самая обоснованная путем чудес, пророчеств и т. д. Безумна потому, что совсем не этим всем руководствуются верующие. Верить заставляет их крест»¹⁷⁶, то есть любовь.

Вот почему на вопрос Хохлаковой – «чем возратить веру?» (14: 52) – Зосима правильно отвечает: «Доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно... Опытom деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей» (14: 24). А вот запись в черновиках к роману: «Если ты атеист и если ты усумнился – то люби деятельной любовью, воротишься к Богу и узришь Его» (15: 243). Характерно, что в примечаниях к этому месту черновика Долинин пишет: «В окончательном тексте этой записи соответствия не находим... в устах старца (она – С.Ф.) звучала бы слишком уж не в духе Церкви»¹⁷⁷. Вот как уверенно знают люди «дух Церкви» (да и роман!). Для них Церковь – это только Ферапонт, в то время как он не Церковь вовсе.

О любви и свободе все учение апостолов и отцов. «К свободе призваны вы, братия... любовью служите друг другу», – пишет апостол Павел. «Требуется от нас к Нему любовь, – учит св. Тихон, – чтобы возлюбить явление Его, и от любви принять Его (т. е. свободно принять. – С.Ф.), а от сего последует и послушание к Нему», т. е. исполнение заповедей и восхождение, в страхе Божиим, к любви совершенной, к полноте любви Божией. Так же учил и продолжатель учения Тихона Задонского подвижник Георгий Задонский. «Любовь к Богу научает познавать и творить волю Божию»¹⁷⁸, – писал он. Епископ Феофан Затворник, объясняя мысль апостола: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет отлучен», говорит, что человек самоотлучается от Церкви не только по ереси мысли или по нравственной нечистоте, но и по отсутствию любви. «Больше всего облекитесь в любовь», – пишет апостол. Казалось бы, это так ясно. «Если не любишь, то и не веруешь», – говорит Варсонофий Великий. «Началом спасения бывает для души любовь», – учит основатель монашества Антоний Великий. Но, оказывается, это было уже совсем неясно в XIX веке.

К.Н. Леонтьев должен был бы знать и апостолов, и Отцов, но в своих возражениях Достоевскому 1880 года, путая совершенную любовь подвижников с любовью – «началом спасения» и «источником веры», он пишет: «Прежде всего страх... а любовь уже после... это плод, венец»¹⁷⁹. Начало христианства в сердце – это начало веры и любви, их первые лучи, которые, возрастая, обретают все большую победоносность. На этом пути возрастания веры и нужно водительство «отеческого жезла» страха Божия, надежно ведущего нас в Царство Божие. Страх Божий поэтому действительно есть «начало премудрости», начало пути к совершенству уже живущей в человеке веры и любви, но он не есть начало христианства. Его начало даже не вера, а именно любовь. «Вы возлюбили Меня и уверовали», – сказал Христос ученикам. Миротосицы и апостолы не потому уверовали в Христа, что они Его испугались, а потому, что они Его полюбили. «Вера рождает страх»¹⁸⁰ (а не страх веру), – говорит преп. Максим Исповедник. А так как в вере есть уже начало любви, то,

¹⁷⁶ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 174.

¹⁷⁷ Долинин А. С. Тексты черновых записей к «Братьям Карамазовым». Комментарий // Ф.М. Достоевский: Материалы и исследования. С. 374.

¹⁷⁸ Георгий, затворник Задонский. Письма. СПб., 1894. Ч. 3. С. 129.

¹⁷⁹ Леонтьев К. Н. О всемирной любви. С. 302.

¹⁸⁰ Максим Исповедник, преп. О любви. М., 1845. Ч. 1, сотница 2.

значит, и страх Божий, порождаемый верой, не может мыслиться вне любви. «Бойся Бога по любви к Нему, а не по грозному имени», – пишет св. Исаак Сирий. Приходится останавливаться на этом, так как и в наше время многие болеют все тем же коммерческим рационализмом в религии.

Леонтьев в той же статье пишет: «Давать советы любви нужно только с целью единоличного вознаграждения за гробом»¹⁸¹. Леонтьев жил в Оптиной несколько лет. Достоевский провел в ней несколько дней, но он мог бы в ответ на эту фразу привести слова одного оптинского старца: «Ищика лучше милости у Владыки нашего, а не платы за труды... не цени своих заслуг и не считай добродетелей»¹⁸². Леонтьев пишет: «Плоды веры, например, постоянное расположение любить ближнего, – или никому не доступны, или доступны очень немногим»¹⁸³. Вот какое премудрое богословие предстало перед Достоевским. Опять он встретил, и совершенно неожиданно, старую версиловскую формулу: «Простите меня, но я к этому не способен...» (13:447).

Мир делался неспособным к христианству и совершенно спокойно об этом заявлял, то есть уже без всякого страха, о котором с таким глубокомыслием учили его проповедники. В этом смысле высказывания Леонтьева типичны и значительны. «Мир на другую дорогу вышел» (15: 245, 247, 249, 253), – читаем мы неоднократно сделанную Достоевским запись в черновиках «Братьев Карамазовых». Не для нас написано: «Сия есть заповедь Моя – да любите друг друга». Но если учителя и отцы делались неспособны к любви, то что оставалось их детям, кроме права заказывать ростбиф, подделывать векселя или, в лучшем случае, мирно играть в преферанс? Есть какая-то закономерность происхождения явного греха или явного равнодушия людей, числящихся в Церкви, от тайного холода ложных учителей и ложных подвижников.

У Версилова есть и такая формула, типичная для эпохи церковного упадка: «Любить людей так, как они есть, невозможно. И однако, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза» (13:174). Наверно, так любил – «зажимая нос» – не только Версилов-Леонтьев, но и Ферапонт, в целях, как советовал Леонтьев, «единоличного вознаграждения за гробом». Для того чтобы понять все искажение истинного монашества ферапонтами или такими его церковными апологетами, как Леонтьев, приведем слова одного монаха и подвижника – афонского старца Силуана. «Монах – молитвенник за весь мир, – учил он. – Сын Божий дает монаху любовь Святого Духа, и от этой любви сердце монаха всегда печально о народе... Сам Господь до того был печален о народе, что предал Себя на крестную смерть... В этом служение наше миру». Жизнеописатель аввы Силуана – иеромонах Софроний – пишет, что за время его общения с монахами Афона в начале XX века он встретил девять человек, которые молились с плачем за весь мир.

Как, наверно, странно было читать Достоевскому рассуждения Леонтьева, когда он еще за десять лет до этого читал о монахах, молитвенниках за мир, в «Странствии» Парфения. Дело, конечно, не в полемике Достоевского с Леонтьевым. «Подросток» был написан за пять лет до выступления Леонтьева в «Варшавском дневнике». Тут дело гораздо более серьезное: эти версиловские мысли составляли признак эпохи. Даже в самой Церкви заповедь о любви все больше становилась делом только символики, иносказания, может быть, необходимого для какого-то общественного *compte à faire*, но не имеющего ничего в себе самом реального. Или же – что еще страшнее – делом коммерческого расчета в вопросах метафизики. Достоевский мог бы повторить слова Паскаля: «Утверждать, будто Иисус Христос, пришедший снять символы и заменить их истиною, явился только для установления символа любви, – это ужасно»¹⁸⁴.

¹⁸¹ Леонтьев К. Н. О всемирной любви. С. 305.

¹⁸² Письмо Оптинского иеросхимонаха Анатолия 1875 г. // Анатолий (Зерцалов), иеросхимонах. Письма к монахиням. Б. м., 1909.

¹⁸³ Леонтьев К. Н. О всемирной любви. С. 309.

¹⁸⁴ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 98.

По-версиловски рассуждает и Иван. «Я никогда не мог понять, – говорит он, – как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних» (14: 215).

Ивану противостоит в романе Зосима, призывающий к деятельной любви именно ближних. Незадолго до начала создания романа Достоевский писал: «Начинают любить человека по книжке и отвлеченно; любят человечество и презирают единичного несчастного, скучают при встрече с ним и бегают от него» (30, кн. 1: 18).

Ферапонт как будто и не похож на инквизитора, но их объединяет одна темная масть: холод и гордость, нелюбовь к евангельскому Христу. Который, вопреки их желаниям и вкусам, «и вчера, и сегодня, и во веки Тот же». Чудо, тайна и авторитет заменяют им обоим правду, любовь и свободу Христову. А за этими двумя фигурами стоят – и это тоже показано в романе – какие-то людские массы, еще менее, чем эти вожди, понимающие, что такое христианство, и унаследовавшие от их сердечной пустоты равнодушные к вере и все грехи обмирщения.

В планах и черновиках романа мы читаем: «ВАЖНЕЙШЕЕ... Никто Евангелия не знает» (15: 206). В «Поэме» есть особый католический разрез, но ее суть общая – разоблачение на почве оскудения веры-любви чудовищного исторического парадокса: Церкви без Евангелия, христианства без Голгофы, без распятия за мир, а, наоборот, с погружением в мир. В определении контуров этого как бы двойника Церкви и противопоставлении ему Церкви истинной: инквизитору – Христа, Ферапонту – Зосимы – и заключается главная христианская идея романа¹⁸⁵.

Достоевский, точно Аркадий из «Подростка», по завещанию Макара, начал свою борьбу за Святую Церковь в истории. Он знал, что «врата ада не одолеют ее», но знал он также и то, что они все время пытаются одолеть, и именно изнутри, в самой ограде церковной, – затемнением лика Христа и обмирщением христианства. Вот почему мы не раз встречаем у него эту фразу: «чтобы не умирала великая мысль» (26:164), – в которой сочетались и скорбь, и мольба, и надежда, и ясная вера, все – в глубочайшем вздохе к Богу о Его оставленной на земле Церкви. Об этом неумирании «великой мысли» и мы молимся на молитве девятого часа: «Не предаждь нас до конца имене Твоего ради и не разори завета Твоего и не отстави милости Твоея от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего».

Взгляды Достоевского на католичество слишком известны. Менее известно то, что, отвергая папство, он никогда не отвергал существования христиан Запада. «Мне возражали, – писал он в «Дневнике писателя» 1876 года, – что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков по всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно» (22:88). Иначе быть и не могло для человека, близкого по мыслям к Паскалю – католику XVII века. Достоевский в своем отношении к Западу следует за Хомяковым, с одной стороны, подготовившим богословски его «Великого инквизитора» и борьбу с папством, а с другой стороны – утверждавшим, что таинственные связи, связующие Церковь с христианами Запада, нам непостижимы, но они есть.

Церковь, по апостолу, – это таинственный Богочеловеческий Организм, Тело Божие, живущее в истории, полнота Христовой благодати, пребывающая в мире, а не что-то рационально определимое и юридически осозаемое. И она не есть государство среди других государств, а именно через прививку

¹⁸⁵ Один разговор точно на тему поэмы Ивана о недопустимости Евангельского Христа для современного человечества записан Н. Тучковой-Огаревой. Разговор был в 1838 году между ее отцом и пензенским архиепископом Амвросием. Тучков сказал: «Вот что плохо, преосвященный, крестьян-то не учат закону Божию; они очень суеверны, а религии вовсе не знают, об Евангелии и не слыхивали». Амвросий усмехнулся: «Учение Христа! Да что Вы, Алексей Алексеевич, разве можно этим шутить! Вы благодарите Создателя, что они (крепостные. – С. Ф.) не знают Евангелия; знали бы, так Вас бы не слушались; начальство-то лучше нас с Вами это понимает» (Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. М., 1959. С. 38).

ей государственных функций или через втягивание в орбиту государственности и усиливается ее обмирщение.

«Церковь, замутив идеал свой, – пишет Достоевский в 1880 году, – давно уже и повсеместно перевоплотилась там (на Западе. – С.Ф.) в государство» (26: 167). Зосима в романе говорит о том же: «Церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как Церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же уж тысячу лет вместо Церкви провозглашено государство» (14: 60–61). В ноябре 1880 года И.С. Аксаков в передовой статье своей газеты «Русь» писал о таком же процессе обмирщения Русской Церкви. «Служители духа, – писал он, – превращаются в служителей буквы, и является мерзость запустения на месте святе... (Существует. – С.Ф.) целое мировоззрение, включающее Церковь в состав государственного правительственного механизма... Такое воззрение стало... господствующей нотой в общем церковном строе... Результатом – настоящее состояние Церкви, при мысли о котором болезненно сжимается сердце... Понятие Церкви подменено понятием ведомства... Это как бы разложение самой души народной, это обуяние самой соли, которую солится наша земля»¹⁸⁶.

Собственно, в этой статье Аксаков сказал открыто о Восточной Церкви то, что было прикровенно в «Поэме». Как раз ко времени этой статьи относится одно из наиболее дружеских писем Достоевского к Аксакову (от 4 ноября 1880 года). Кажется, у Достоевского первоначально было желание снять эту прикровенность и сказать прямо всю правду о церковной действительности не только Запада, но и Востока. Д.Н. Любимов (сын редактора «Русского вестника») в своих воспоминаниях пишет: «Из разговора (Достоевского с его отцом. – С.Ф.) выяснилось, что сперва, в рукописи у Достоевского, всё то, что говорит Великий инквизитор о чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено вообще к христианству, но Катков убедил Достоевского переделать несколько фраз... таким образом, не было сомнения, что дело идет исключительно о католичестве. При этом, помню, при обмене мнений Достоевский отстаивал в принципе правильность основной идеи Великого инквизитора, относящейся одинаково ко всем христианским исповеданиям»¹⁸⁷, – о создании темного церковного двойника во имя приспособления к миру.

Государства бывают разные, но процесс обмирщения Церкви все тот же. Было время феодальных государств. Сейчас государство все более делается демократическим, независимо от содержания этого понятия, и вот Достоевский пишет в «Дневнике писателя» о новом виде обмирщения Церкви – демократическом.

«Католичество несомненно бросится к демосу., в народ... – был уверен Достоевский. – Прежде главная сила веры состояла в смирении, но теперь пришел срок смирению, и папа имеет власть отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы все братья, и сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой» (22: 89).

Уже отмечалось в литературе, что основная заслуга Достоевского – в разоблачении хитросплетений добра и зла в истории и в человеке, в снятии всяких маскарадов и в обнаружении истины¹⁸⁸. С церковного Ферапонта он снял личину праведника. Странник Макар в «Подростке» попросту и точно определил сущность атеизма с точки зрения христианина – в возрождении древнего язычества. «Бога отвергнет (человек), – говорит он, – так идолу поклонится – деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это всё, а не безбожники, вот как объявить их следует» (13: 302). Именно так мыслили об атеизме и оптинские старцы. В письме старца Амвросия с объяснением одного сна есть такое место: «...обширная пещера, слабо освещенная одною лампадою,

¹⁸⁶ См.: Аксаков И. С. Соч. М., 1886. Т. 2. С. 435–441.

¹⁸⁷ Любимов Д. Н. Из воспоминаний // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 371.

¹⁸⁸ См., напр.: Аскольдов С. Религиозно-этическое значение Достоевского // Ф.М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. [Сб. 1.] С. 1–32.

может означать настоящее положение нашей Церкви, в которой свет веры едва светится, а мрак неверия... и нового язычества... всюду распространяется»¹⁸⁹. Надо обратить внимание и на это единство в оценке тяжелого состояния Церкви со стороны оптинского старца, Аксакова и Достоевского.

Что-то неумолимое есть и в этом пророчестве Достоевского о слиянии руководящих церковных кругов с демократической цивилизацией современности. В «Братьях Карамазовых» мы читаем: «Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лже-подобие Христа» (15: 174).

Об исправлении Евангелия говорит уже Степан Трофимович в 1870 году в «Бесах». В 1876 году Достоевский пишет: «Потеряв союзников царей, католичество несомненно бросится к демосу» (22: 89), то есть сделает из Христа современного деятеля демократического процесса. Эта фраза из «Дневника» звучит как пророчество не только о католической иерархии. Важнейшие вопросы нашей церковной современности предощущались Достоевским. Но к счастью и для него, и для нас, по православному воззрению, Церковь – это весь Божий народ. «Церковь – весь народ – признана восточными патриархами весьма недавно, в 1848 году, в ответе папе Пию IX» (27: 57), – записывает Достоевский в записной книжке последних лет. «Весь народ» означает, конечно, весь «святой народ», то есть входящий действительно, хоть и непостижимо, в святую Церковь – Тела Божия: и пасомые и пастыри, и миряне и епископы, – по своей устремленности к святине Божией в покаянии и любви. Поэтому иерархические падения и в мысли, и в жизни не должны приводить нас в отчаяние, точно это падение Святой Церкви: первообраз этих иерархических падений появился уже на Тайной вечере, что тем не менее не уменьшило силы и святости этого основания Церкви. И современные нам грехопадения людей Церкви есть, как сказано, грех не Церкви, а против Церкви. Именно Тайная вечеря и есть поэтому образ земного бытия Церкви – великого поля пшеницы и растущих среди нее плевел евангельской притчи.

В одной рецензии журнала, отрецензированного Достоевским, мы читаем: «Если грех и мерзость были еще и при святом Феодосии, и в первые времена христианства, то были зато и сам св. Феодосий, и мученики за Христа, и основатели христианства... А ведь в этом всё»¹⁹⁰.

В этом действительно все, так как это значит, что можно до конца иметь критерий правды и ориентир пути: верные ученики всегда пребывают на Тайной вечере Церкви, и только они и составляют ее. Дальше в рецензии мы читаем (точно в предчувствии темы монастыря старца Зосимы): «Может, и в современных русских монастырях есть много чистых сердцем людей... для которых монастырь есть исход, неутолимая духовная потребность».

Только «чистые сердцем узрят Бога», и только они на земле составляют Церковь – Тело Христово. «Душа, пока живет в греховной тьме и сим питается, не принадлежит Телу Христову», – пишет Макарий Великий. «Питание греховной тьмой» прекращается, как только возникает покаяние искреннего сердца и устремление через него к любви Божией. В покаянии и любви человек воцерковляется – входит непостижимо и незаслуженно в Святую Церковь Божию. Это учение о Церкви апостолов и древних отцов передавал Достоевскому Тихон Задонский, говоря, что «все в гордости и в пышности мира сего живущие и все не боящиеся Бога – вне Церкви Святой находятся, хоть и в храмы ходят, и молятся, и Таин причащаются, и храмы созидают, и украшают их, и прочие христианские знаки показывают»¹⁹¹. Это знание факта отлучения от Церкви из-за «греховной тьмы» и при наличии «христианских знаков», то есть и при нахождении внутри церковной ограды, заставило Достоевского довести мысль до конца. Он понял, что его старая идея двойника охватывает и

¹⁸⁹ См.: Собрание писем Оптинского старца иеросхим. Амвросия к мирским особам. Сергиев Посад, 1908. С. 16.

¹⁹⁰ См.: Наши монастыри (Журнал «Беседа» 1872 г.) // Гражданин. 1873. 22 янв. №4. С. 125. См. также: 21: 139.

¹⁹¹ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 89.

историческую действительность Церкви. И эту страшную мысль он попытался выразить в последнем романе.

«Двойник» – это «Отрепьев», то есть самозванец повести Достоевского 1846 года, Гришка Отрепьев Хромоножки 1870 года: это человек, носящий маску того, кого он изображает. В конце 90-х годов прошлого века Вл. Соловьев писал: «Антихристианство, которое обозначает собою последний акт исторической трагедии, будет не просто неверие, или отрицание христианства, или материализм, а это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу»¹⁹².

Возможно, что во время поездки Достоевского в Оптиную пустынь эта его старая мысль о двойнике получила особое подтверждение. Есть одна брошюра, изданная в Оптиной пустыни вторым изданием в 1888 году: «О последних событиях, имеющих совершиться в конце мира». Наряду с утверждением непобедимости Христовой Церкви в истории как непорочной Невесты Христовой в ней есть такие мысли о двойном аспекте церковной действительности: «Мир проникнет и заразит Церковь своим нечестивым антихристианским духом... Церковь была обязана смело возвышать свой голос против мира, а она раболепствовала ему: и вот Бог наказывает ее тем, что отдает ее в руки самого этого мира... Церковь падшая в мир падших, ложное христианство и антихристианство – таковы два явления, которыми оканчивается история греха... У Христа есть Невеста, у антихриста – любодейца»¹⁹³.

Достоевский, уже так давно видевший и обличавший ложное христианство и «падшую Церковь», мог видеть в 1878 году в Оптиной или первое издание брошюры, или рукопись ее, или же иметь разговор на эту тему. Как бы то ни было, применение идеи двойника к церковной действительности еще раз подтвердило глубину самой идеи. Человек несет в себе нравственную двойственность, в нем идет борьба Добра и Зла. Если Добро побеждает, человек входит в Святую Церковь, сам становясь «малой Церковью» – «храмом Духа Святого», по слову апостола. «Церковь, – пишет Макарий Великий, – можно разуметь в двух видах: или как собрание верных (вселенская Церковь), или как душевный состав (один человек)»¹⁹⁴. Чтобы быть в Святой Церкви как «собрании верных», надо, говоря словами еп. Феофана Затворника, «быть тем в малом, что она – в большом», то есть быть «малой Церковью». Но это значит, что подобие «Церкви малой» Церкви вселенской существует не только в достигнутой победе над злом, но и в самой борьбе, в самой двойственной церковной жизни в истории. И так же как веря в человека, мы верим не его злу или тьме, а, наоборот, его борьбе и свету, или, лучше сказать, образу Божию в нем, эту тьму его уничтожающему, так же и, веря в Церковь, мы должны верить не в ферапонтов или кардиналов, не в ссоры епископов на соборах, не в равнодушный холод византийского устава, а в победу над всяким злом – и в себе, и в других, – в святую Христа в святом человечестве. Достоевский был прав, говоря об идее двойника в 1877 году: «Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (27: 65). Так раскрывается то, что только кажется Церковью, – и в себе, и в других, – и тем самым начинается борьба за истинную Церковь и вход в нее через святые ворота покаяния и любви.

Разоблачая безверие, где бы оно ни обнаружилось – в гостинице или в монастыре, – Достоевский одновременно создает ряд образов людей, уже достигших христианского бытия или же пребывающих в христианской устремленности. Прежде всего это его праведники и учителя: Тихон, Макар и Зосима. К ним примыкают жертвенные образы – Сони, князя и Хромоножки. За ними идет «новогрядущая интеллигенция» (30, кн. 1:236), по выражению Достоевского: Раскольников, Шатов, Аркадий, Алеша со своими мальчиками. Все они один другого дополняют, один в другого переходят. В начале

¹⁹² Соловьев В.С. Три разговора // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 8 т. СПб., б.г. Т. 8. С. 527.

¹⁹³ О последних событиях, имеющих совершиться в конце мира. Б. м., 1888. С. 33, 44, 45.

¹⁹⁴ Макарий Великий. Духовные беседы. С. 261.

черновых записей к «Карамазовым» Алеша неоднократно назван «Идиотом» (15: 202.204), точно для сознательного подчеркивания преинства.

Многие помогали Достоевскому в формировании его христианского мышления: Паскаль, Тихон Задонский, Голубов, Парфений, Леонид, Амвросий, некоторые его знакомые, например Победоносцев, Аксаков. В письме к Н.А. Любимову Достоевский пишет о «Русском иноке»: «Эта глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского» (30, кн. 1:102). Нас, может быть, удивляет это восторженное повторение Зосимой восклицания – «буди, буди!». Но это могло быть взято из четвертой части «Сокровища духовного» св. Тихона, в котором есть такое место: «Тому похвала, честь и слава во веки веков буди, буди! Аминь»¹⁹⁵. В поучениях того же Тихона Достоевский мог найти ясное раскрытие идеи «монастыря в миру», того, о чем так говорит в романе Зосима: «Иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы» (14:149).

Вообще можно сказать, что учение Зосимы о смирении, покаянии, молитве, духовной радости, неосуждении, грехе, даже о возможности вечных мучений нераскаянных грешников – могло бы быть принято за учение любого другого опытного и действительно благодатного старца Восточной Церкви. Некоторая «поэтичность» изложения, иногда напоминающая нам об авторстве петербургского литератора, не затрагивает чистоты учения. Поэтому можно не удивляться такому факту: в петербургской газете «Новое время» от 22 августа 1903 года была помещена заметка о том, что в журнале «Воскресение» напечатана статья под заголовком: «Житие старца иеросхимонаха Зосимы». «Составлено, – пишет журнал, – со слов самого старца Федором Михайловичем Достоевским». «Новое время» свою заметку заканчивает возмущением по поводу того, что теперь «простой читатель уверует непосредственно в старца Зосиму».

Таким же естественным для церковного мышления является неверие Зосимы в роль технического прогресса. «Уверяют, – говорит он, – что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей... Вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут... В мире всё более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей» (14: 284–285). В одной из статей К. Голубова, так много давших Достоевскому в эпоху создания «Бесов», есть и такая фраза: «Безмерная разъединенность, потеря взаимной любви есть жерло зла всемирного»¹⁹⁶.

В рамках церковного мышления разрешается Достоевским и знаменитый «бунт» Ивана – главная ставка неверующих, вокруг которого они создают свои «психологические этюды», действительно в стиле Мережковского, как справедливо заметил Гроссман¹⁹⁷. И дело совсем не в том, что, как пишет Булгаков, «бунт Ивана не есть бунт самого Достоевского»¹⁹⁸. Бунт Достоевского существует, но он, также как все его «неверие Фомино», только углубляет веру – и его, и нашу. Это «бунт» Иова.

В 1875 году, то есть уже на подступах к «Братьям Карамазовым», Достоевский пишет жене из Эмса: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу

¹⁹⁵ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 117.

¹⁹⁶ Цит. по: Субботин Н. Русская старообрядческая литература за границей. С. 119. См. также: Русский вестник. 1868. № 7–8. С. 119.

¹⁹⁷ Имеется в виду статья Д.С. Мережковского «Пророк русской революции», в которой Достоевский назван «пророком русской революции», только «притворявшимся» реакционером. «Статья Мережковского представляла собой модный в те годы вид субъективного этюда, построенного на положениях, отражающих личное воззрение автора, не подкрепленное объективной системой доказательств... Мысль Мережковского... разрабатывалась и позднейшими исследователями, которые, впрочем не подвели под этот парадоксальный тезис достаточной документальной аргументации» (Гроссман Л. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов // Литературное наследство. М., 1934. Т. 15. С. 94).

¹⁹⁸ Булгаков С. Н. Венец терновый: Памяти Ф.М. Достоевского. С. 10.

в комнате, чуть не плача» (29, кн. 2:43). Если для изучения Достоевского интересуются даже Шатобрианом, то приведенная фраза из письма обязывает нас обратиться к книге Иова.

Ни в чем не повинного и непорочного человека Бог отдал, для испытания его верности, на величайшие страдания. После потери всего, когда он лежал в прокаже «на гноище», ему говорит жена: «Ты всё еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри». «Смысл книги, – пишет Достоевский в мае 1879 года Победоносцеву о той части романа, где помещен «бунт», – богохульство и опровержение богохульства» (30, кн. 1: 66). «Богохульство» Ивана – в отвержении созданного Богом мира, в неверии в правду и любовь Божию. Душа Иова и его книга давали Достоевскому не только опровержение этого неверия, но, что особенно важно, и то самое, что нужно было опровергать, то есть «бунт» в тексте Библии.

Иов чувствует, что его невероятные страдания нельзя объяснить его грехами, что совершается что-то непостижимое ему и невыносимое для него именно по этой своей непостижимой незаслуженности. И он восстает против тайны невинного страдания. «Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, – говорит он Богу. – Зачем Ты поставил меня противником Себе?» «Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?» «За что Ты со мною борешься?»

Но не только личные невинные страдания давят своей тайной Иова. Бог «губит и непорочного, и виновного... Земля отдана в руки нечестивых». «Почему беззаконные живут, достигают старости... дети их с ними... дома их безопасны от страха и нет жезла Божия на них?» «Почему... бедных сталкивают с дороги, все уничтоженные земли принуждены скрываться... в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того?» Разве это место Библии нельзя продолжить рассказом Ивана о ребенке, затравленном генеральскими собаками? Мы уже знаем, что «Бедных людей» можно продолжать большими выписками из Тихона Задонского.

«Лице мое побагровело от плача, и на веждях моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих и молитва моя чиста... О, если бы человек мог иметь состязание с Богом!» «Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне». «Слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; ужасы Божии ополчились против меня». Не вера в Бога колеблется у Иова, а вера в божественный миропорядок. «Не Бога я не принимаю, – говорит Иван, – я только билет Ему почтительнейше возвращаю» (14: 223). В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:

«- Алеша, веруешь ли в Бога?»

– Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.

– А можешь принять?.. Можешь понять, как мать обнимет генерала и простит ему?»

Алеша молчит.

– Нет, еще не могу. Еще не могу» (15: 228).

И Иов еще не может, а вслед за ним и Достоевский. И он, и мы идем путем Библии, а не тем, который нам хотят навязать. «Вот, я кричу: «обида!», и никто не слушает; вопию, и нет суда». «Ты сделался жестоким ко мне».

В записной книжке Достоевского мы читаем: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман» (27:48). «Сила отрицания», конечно, не могла заключаться для Достоевского в детском лепете научности. Она могла быть только в любви: «Если в мире невинное страдание, то где же любовь Божия?»

«Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело мое... Но вот, я иду вперед, и нет Его, назад – и не нахожу Его». Бог недостижим, непостижим. Он вне страданий Им же созданного мира. Сознание входит в

холодный туман сомнений, губящих всякую искреннюю веру до тех пор, до самой той минуты, пока Бог не начнет ощущаться ею как Агнец Божий. И вот прокаженный старик где-то в темноте веков почувствовал это и положил основание для ответа Алеши. «Нет между нами, – говорит Иов, – посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». «И это Ему воскликнут, – говорит Алеша, – «прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои». – «А, это «Единый Безгрешный» и Его «кровь» (14: 224), – говорит Иван.

Все наше сомнение в смысле божественного мироздания оттого, что мы не имеем истинного ощущения Бога, что отделяем мир от Него, что не чувствуем Его соучастия в страданиях мира, что не хотим «вложить руку свою в язвы Его». Страдают в мире невинные люди, но, чтобы почувствовать всю безмерность страданий Божиих, можно вспомнить слова одного русского мыслителя: «Страдают не униженные и оскорбленные, не ребенок, затравленный собаками, а Христос в них»¹⁹⁹. Бунт Иова тотчас закончился, когда он ощутил эту нестерпимую реальность Бога, – когда с ним заговорил наконец Бог. «Я слышал о Тебе слухом уха, – говорит Иов, – теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Он раскаивается не в жизни своей, а в словах сомнения и протеста.

Самое замечательное место книги Иова – это эпилог, сцена встречи с его друзьями. Они старательно уговаривали его примириться с страданиями, не роптать и принять их как наказание за грехи. «Вспомни же, – говорили они ему, – погибал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы?» «Верно, злоба твоя велика, и беззакония твоим нет конца». И вот, после слов к Иову, Господь обращается к Элифазу, старшему из друзей: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов».

А что говорил Иов, кроме слов тоски о себе и о мире, кроме слов сомнения, непонимания и протеста? Вот что для уяснения христианства и идей Достоевского надо было бы нам учесть. Сомнения Достоевского только вводят нас глубже в Библию и показывают первоисточники его идей. Бунт Иова заканчивается не отходом от Бога, а, так же как у Достоевского, сильнейшим к Нему устремлением, но точно через какую-то борьбу с Ним. Как сказал один монах: «Это есть та борьба с Богом ради правды Божией, когда человек борется с молчанием Божиим, как когда-то Израиль боролся на утренней заре с безмолвной для него Истиной»²⁰⁰. Это одна из вершин Библии, и Достоевский из своей темноты устремлялся к ней.

Уже в 1875 году, в «Подростке», он подошел к разрешению этой же загадки в рассказе Тришатова про Диккенса – в образе ребенка, тоже затравленного людьми, стоящего перед тайной солнца и Церкви и знающего, что все тайны мира в полной любви и в полной правде разрешены у Бога.

В «Братьях Карамазовых» к этому ответу он прибавил еще и разоблачение той любви Ивана к страдающему человечеству, на которой должен был бы держаться весь его бунт. Достоевский любит Ивана, как и Кириллова. Из любви к нему он сблизает некоторые его взгляды со взглядами Зосимы. Он оставляет окончательную его судьбу неизвестной (то есть, может быть, полной каких-то хороших возможностей). Но при всем том он показывает его после всего его бунтарства и богоборчества учителем убийцы Смердякова, нравственным убийцей своего отца. В черновиках романа Иван

¹⁹⁹ См.: Хилков Д. Письма. Сергиев Посад, 1915. Вып. 1.

²⁰⁰ «Книга Иова» – рукописная работа 1953 года сектора высшего образования Ленинградской духовной академии. Книга Иова была в библиотеке Достоевского в русском переводе в отдельном издании (Вятка, 1860). Удивительное сходство с мучительными проблемами Ивана Карамазова представляет одна из черт духовной биографии нашего современника аввы Силуана, умершего в 1938 году. Здесь тоже «бунт», так же разрешающийся, как в Библии у Иова и как в «Братьях Карамазовых» у Алеши – внезапным ощущением живого Бога, «Посредника», Агнца Божия, пострадавшего и все еще страдающего за мир и этим Своим страданием все искупающего. В черновиках романа есть такая запись: «Апокалипсис. В финале выразится что-то такое драгоценное, чего стоили все мировые эти страдания и что искупает их до того, что можно и примириться» (15:231). Апокалипсический финал истории – это второе явление миру Агнца Божия.

несколько раз назван «убийцей» (15: 205, 207, 210). Но решает вопрос даже не самый факт данного убийства, а теория о том, что «всё позволено». Ведь если все позволено, значит, и генерал мог позволить себе травить ребенка. Но авторское разоблачение идет дальше: Достоевский сближает образ Ивана с образом Инквизитора, делает их обоих одинаково презирающими человечество. В одном письме Достоевский пишет: «Мой социалист (Иван Карамазов) – человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом «Великого Инквизитора» на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?» (30, кн. 1:68). «Я Христовой любви не понимаю» (15: 229), – говорит Иван. Да, по мысли Достоевского, он и не может понять. Еще в 1876 году, в «Дневнике писателя», Достоевский утверждал: «Любовь к человечеству даже совсем немислима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой» (24: 49).

Вне Бога нет правды и нет любви. Собственно, об этом только и писал всегда Достоевский. Книга Иова поразила его в детстве, с нее, мы знаем, началась его сознательная детская церковность. В 1875 году он «чуть не плача» (29, кн. 2:43) читал ее часами в меблированных комнатах немецкого курорта. Кончая жизнь над «Братьями Карамазовыми» в Старой Руссе, он вновь говорит о ней «с удивлением, смятением и радостью» (14: 264).

«Через большое горнило сомнений моя осанна прошла» (27: 86), – писал Достоевский, уже закончив главу «Бунт» и весь роман о Карамазовых. В начале своих страданий Иов говорит: «Господь дал, Господь и взял: да будет имя Господне благословенно». Потом, уже после этих слов, началась буря его сомнений, непонимания и протеста, началось то горнило, через которое должна была пройти его осанна, чтобы сделаться золотом вечным и неизменяемым. Это и есть то, что так было нужно Достоевскому, – не только библейская осанна, но и библейское горнило. Ему надо было убедиться, что путь страданий его души и мысли в их борьбе за Бога в себе и в мире есть благословенный путь многих душ, алчущих и жаждущих Бога, есть путь Церкви, в муках рождения жизни и мысли рождающей свое бытие²⁰¹. Книга Иова библейским авторитетом утверждала все мировоззрение Достоевского. Ее тайна любви и страдания есть тайна созидания Церкви. Ибо она есть не Церковь панлютеранских съездов и гуманистических деклараций, а Церковь подвига и стояния у Креста. И осознание этого ее крестного стояния есть тоже борьба за нее.

Глава XI. Особенности искусства

Роман «Бесы» выделяется из других романов несколько большим количеством черного цвета и в идейном замысле, и в исполнении. Гроссман сказал, что «Бесы» – это «отвержение черной соборности и утверждение спасения Христом»²⁰². С начала до конца, вплоть до ставрогинской петли в Скворешниках, сильнее всего в романе звучит одна тема:

Ночь наступает.

Скоро друг друга никто не узнает.

Темноте романа противостоит свет от жертвенных образов Хромоножки, Маврикия Николаевича, Шатова и книгоноши. Если бы роман не был искажен изъятием главы «У Тихона», его ночи в полной силе противодействовал бы день.

²⁰¹ Замечательно, что Достоевский не только Ивана, но и Алешу показывает в искушении неверием. И апостолы этим искушались. Достоевский создает не нравоучительных кукол, а религиозную реальность душ – или идущих к Богу, или уходящих от Него. В черновиках искушение Алеша дано еще сильнее, чем в тексте романа.

²⁰² См.: Гроссман Л. П. Путь Достоевского //Творчество Достоевского: Сб. статей и материалов / Под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 104. «Черная соборность» – выражение С.Н. Булгакова.

Но когда мы вспомним другие большие романы Достоевского, мы заметим, что это противопоставление света и тьмы – и в идейном, и в творческом плане – является и для них постоянным. В показаниях Достоевского следственной комиссии в 1849 году по делу петрашевцев есть такое место: «Можно ли писать одними светлыми красками? Каким образом светлая сторона картины будет видна без мрачной, может ли быть картина без света и тени вместе?»

О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень» (18: 125). Таким образом, уже в конце 40-х годов Достоевский осознал основной метод и своего мышления, и своего творчества: метод контраста, или светотени, метод двойного освещения. Иначе и быть не могло для автора «Двойника». Впрочем, до 1865 года краски его были почти сплошь черные, что особенно сказалось в последней вещи этого периода – в «Записках из подполья». Тьма заливала страницы его повестей и рассказов, делая их бессветными, а потому непосильными для читателя.

Но вот Раскольников берет в руки Евангелие и позволяет надеть на себя крест. Величие Наполеона или Штирнера стряхивается при земных поклонах на Сенной, и пылающие глаза Сони посылают великого человека в весьма низменную русскую тюрьму. Христианский луч пронизал темноту страниц, ждавших его, как иссохшая земля влаги.

В христианстве зло вполне реально. Как говорит Лебедев в «Идиоте», «нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными» (8: 311). И глубина религиозного реализма борьбы с ним, конкретность противопоставления Света и Тьмы, осознание глубочайшей и каждого из нас затрагивающей мировой антитезы могут дать великое вдохновение художественному творчеству. Так было с Достоевским.

«Замечательным художественным средством в руках Достоевского, – пишет один исследователь, – явилось контрастное, «рембрантовское» освещение, в котором он показывает убогие комнаты столичных бедняков»²⁰³.

Дело, конечно, не только в столичных бедняках. В таком же «рембрантовском» свете Достоевский дал и православный монастырь, когда вывел рядом со светлым Зосимой темного Ферапонта. После 1865 года он всегда пишет этим способом свои романы. Если даже одна-две сцены из его последних романов освещены более ярко, например «Кана Галилейская» в «Братьях Карамазовых», – точно целым снопом пасхальных свечей, – то и здесь мы чувствуем присутствующую за ними и ненавидящую их ночь. И «рембрантовское освещение» – это не только «художественное средство». Это – художественное отражение его мышления, сознающего нравственную двойственность человека и мира. Это изображение трагического стояния между злом и добром человеческих душ. Приведя слова Ф. Глинки о том, что все в жизни – контрапункт, Гроссман пишет: «Это и есть «pro и contra». Принцип двустороннего освещения темы – господствующий у Достоевского. С этим принципом связано у него явление «двойников». Антитеза – главный принцип архитектоники Достоевского»²⁰⁴.

Конечно, Достоевский не изобретал метода художественного контраста. Этим путем идет всякая мысль, «алчущая и жаждущая правды». Все дело в том, что именно созерцается как контраст, что именно противопоставляется. Ведь можно, например, искать, как обязательную, контрастность «злого помещика» и «добротного крестьянина». «Наша брань, – пишет апостол Павел, – не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Христианство смотрит в корень вещей: не на уродство социальной жизни, а на уродство души человеческой, порождающее все уродливые явления этой жизни, в том числе и социальные, на «духов злобы», сеющих в людях и в мире семена всякого зла. Метод контраста только потому дал у Достоевского такой потрясающий художественный эффект, что христианство открыло

²⁰³ Евнин Ф. И. Роман «Бесы» // Творчество Ф.М. Достоевского. М., 1959. С. 264.

²⁰⁴ Гроссман Л. П. Путь Достоевского. С. 83–108.

ему всю глубину и всю реальность этого контрастирования, этой борьбы Света и Тьмы. Только через ощущение мистических корней того, что происходит на поверхности истории, постигается, если можно так сказать, вся скульптурность противоположения. Это приводит к вопросу о религиозном питании искусства Достоевского.

Еще семнадцать лет он писал: «Поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии» (28, кн. 1: 54). Через тридцать два года после этого он запишет в записных тетраях к «Бесам»: «Шекспир – это пророк, посланный Богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человеческой» (11: 237). Починковская, вспоминая 1873 год, пишет: «Тут я впервые подробно услышала, как их, «петрашевцев», привозили на Семеновский плац... как потом, сидя в крепости, он получил от брата Библию и началось в нем «духовное перерождение». И он вполголоса, с мистическим восторгом на лице, тут же прочел тогда свои «любимейшие» стихи Огарева:

*Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...»²⁰⁵*

Юношеский «поэтический восторг» «разгадывания Бога» сделался пророческим служением зрелых лет, но и там и здесь та же идея: религиозное назначение искусства. Мне кажется, этим определяется все отношение его к своему пути художника.

Еще в 1856 году – за десять лет до начала эпохи великих романов – Достоевский писал Врангелю: «Я присел за другую статью: «Письма об искусстве"... Это, собственно, о назначении христианства в искусстве» (28, кн. 1: 229). Искусство его расцвета после 1865 года не подчинилось, но рождалось в глубочайших его переживаниях христианства. Литературное отображение этих переживаний – этого счастья полного познания мира и человека – стало для него делом священной значительности, «работой Господней». Религия и нравственность были для него абсолютно едины, потому та «нравственная встряска», которую может дать искусство, имела для него серьезнейшее религиозное значение.

«Искусство поддерживает в обществе, – писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1877 года, – высшую жизнь и будит души... идет вразрез с порочным усыплением душ и созданиями своими... взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы» (25: 101–102).

Борьбу со зловонной ямой душевного сна и самодовольства мы и видим в романах Достоевского. «Его творения, – пишет Б. Энгельгардт, – терзают и жгут современную душу, неотступно беря тяжкие раны ее совести, мешая ей хоть на миг успокоиться среди внешних и мнимых решений основных проблем духовного бытия»²⁰⁶.

Достоевский изображает тот путь, по которому душа идет к Богу или по которому она не хочет идти. Этот путь узкий, и, как нам сказано, нет иного пути. Может ли это нравиться современному читателю, ожидающему от литературы прямо противоположного: какой-то услаждающей широты и приятности? Литература должна «отвлекать», «увлекать», «успокаивать» (анестезировать), иногда шекотать, но, во всяком случае, не утомлять. К ее основному блюду – неутомительной интересности вполне допустим некоторый острый социально-философский гарнир. К этому стандарту приятности литература шла давно и все ближе подходит. По существу, эту задачу искусства ясно сформулировал

²⁰⁵ Тимофеева В.В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 174.

²⁰⁶ Энгельгардт Б. Идеологический роман Достоевского //Ф.М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. С. 73.

Державин, сказав, что поэзия должна быть «любезна, сладостна, полезна, как летом вкусный лимонад». В Достоевском – увы! – мы нигде не найдем лимонада.

То, чего Гоголь хотел добиться, – духовного воздействия на людей, – отказавшись от искусства и перейдя на религиозную проповедь. Достоевский осуществляет через искусство, и этим он исправляет ошибку Гоголя. Достоевский понимал, что защиту христианства и борьбу с неверием он должен вести прежде всего путем, ему более доступным и для него более легким, – путем художественной прозы. Исповедь религиозной истины он не побоялся подчинить закономерности созерцания и изображения художественных образов, и мы знаем, насколько это оказалось убедительней «Переписки с друзьями». Но он настойчиво утверждал «владычествующую идею» своего искусства, его нравственный центр. «Я ужасно люблю реализм в искусстве, – пишет он, – но у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах, как выразился на днях один могучий поэт и тонкий художник, говоря со мной о картине Семирадского» (25:90–91).

Что же это за нравственный центр? Ведь, конечно, никакой моральной дидактики мы у него не найдем. «Всякое художественное произведение, – писал он, – без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности... гораздо полезнее для его же целей» (21: 72). Но все дело-то в том, что для Достоевского эта художническая потребность есть одновременно религиозно-нравственная потребность. Художественное творчество автономно, но вместе с тем не только не противоречит религии, но и не может противоречить, так как из нее исходит. «Эстетическое начало, – пишет он в записных тетрадах к «Бесам», – зависит от религии. Религия от себя самой, от откровения и непосредственного вмешательства Бога. Тайна Христова» (11: 152).

Художественное творчество сделалось для него точно одной из форм религиозной жизни, или, как кто-то сказал, «радугой над водами религии». Красота не может противоречить Добру и Истине, она не может быть безнравственна. «Нравственно только то, – пишет Достоевский в записной книжке последних лет, – что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете <...> Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства» (27: 57, 85).

Единство восприятия религии и искусства, а тем самым нравственности и искусства облегчалось Достоевскому тем, что он и религию, и нравственность воспринимал именно в аспекте Красоты. «Дух Святой есть непосредственное понимание красоты, – пишет он, – пророческое сознание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление к ней» (11: 154). То же мы читаем в одном его письме: «Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. Атак как Христос в Себе и в Слове Своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты...» (29, кн. 2: 85). Вот почему он еще в 1861 году в журнале «Время» мог сказать: «Красота всегда полезна... Без нее человек, может быть, не захотел бы жить» (18: 94,95). Духовную жизнь, или жизнь в Духе Святом, Достоевский утверждает как жизнь в «непосредственном понимании Красоты». Теперь будут понятны слова Ипполита в «Идиоте»: «Князь утверждает, что мир спасет красота!.. Какая красота спасет мир?.. Вы ревностный христианин? Коля говорит, вы сами себя называете христианином» (8: 317). Достоевский вместо того, чтобы сказать: «Христос спасет мир», иногда говорит: «Красота спасет мир», или, как он записал в 1870 году: «Мир станет красота Христова, millenium. Апокалипсис» (11: 188). Он созерцал своего Бога не в Премудрости, не в Благости, а в Красоте. Он – весь «буря и беспорядок» (9: 128) – жил в «пророческом сознании гармонии» (11:154). Эти последние три слова он написал в 1870 году, а в 1880 году, в черновиках к «Братьям Карамазовым», он пишет: «Кругом человека тайна Божия, тайна великая порядка и гармонии» (15: 246). «Красота есть гармония» (18:94), – писал он в 1861 году в журнале «Время».

Единство религии и искусства для Достоевского есть единство искусства и нравственности. Ну а если – спросим мы – красота все же соединилась с безнравственностью? Не утонем ли мы в

безбрежности такого понятия красоты? Ведь вот даже Петр Степанович в «Бесах» говорит: «Я люблю красоту» (10: 323).

«Удивительное лицо!.. – говорит князь Мышкин в «Идиоте», разглядывая портрет Настасьи Филипповны. – Вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!» (8: 31–32). Так Достоевский показывает, как он решает этот вопрос. «Спасительна» только «добрая» красота, то есть та внешняя красота, которая соединена с внутренней, и только такая и нужна человеку. Почти через тридцать лет после создания «Идиота» Вл. Соловьев скажет: «Красота есть осязательная форма истины и добра. Отделить ее от них можно только насильно и искусственно»²⁰⁷.

«Высшая красота не снаружи, а изнутри» (15: 202), – читаем мы в черновиках к «Братьям Карамазовым». Но тем самым вопрос о красоте выводится за пределы рационалистического познания. «Тайна Христова» (11: 152), – сказал Достоевский о религиозном происхождении искусства. Как доказать или дать ощутить это сочетание внешнего с внутренним тем людям, кто живет только внешним? «Нравственные идеи есть, – пишет Достоевский. – Доказать же, что они нравственны, нельзя (соприкосание мирам иным)» (27: 85). Он не раз повторяет: «красота – загадка» (8: 66), то есть, может быть, и не красота вовсе. «Красота – это страшная и ужасная вещь! – говорит Митя Карамазов. – Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут» (14: 100). «Определить нельзя», «доказать нельзя», – одинаково говорят и Карамазов, и Достоевский, но Достоевский в многозначительных скобках еще добавляет: «соприкосание мирам иным». Потому-то «Бог задал одни загадки», чтобы их в труде и подвиге жизни разгадывала свободная воля Его детей, возлюбивших иные, божественные миры. Значит, не вообще красота, не вообще искусство нужно человеку, а только ведущее его к постижению вечной жизни, только созидающее в нем какие-то очаги нетления. И в работе для такого именно искусства Достоевский и видел свою – говоря его словами – «дивную и трагическую задачу».

Починковская записала такой с ним разговор 1873 года:

«– Как же вы понимаете Евангелие?» – спросил он ее. – «Как по-вашему: в чем вся главная суть?..

– Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей...

– И только? – тоном разочарования протянул он.

Мне самой показалось этого мало.

– Нет, и еще... Не всё кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная – только ступень... в иные существования...

– К мирам иным! – восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо.

– И какая это дивная, хотя и трагическая задача – говорить это людям! – с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукой. – Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много»²⁰⁸.

Теперь ясно, что вкладывал Достоевский в понятие «нравственного центра» произведения искусства: наличие в нем луча, открывающего нам среди этого трехмерного, ограниченного, тленного мира – мир иной и вечной реальности. В искании этого мира строится замысел произведения, к нему оно идейно устремлено, о нем говорят, о нем тоскуют или же с ним борются и его ненавидят живущие в нем люди. Вся композиция произведения вращается вокруг своей оси: «да» или «нет» –

²⁰⁷ Соловьев В.С. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 8 т. СПб., б.г. Т. 8. С. 365. В другом месте он скажет: «Истинно прекрасное есть прежде всего истинно доброе» (Некролог В. П. Преображенскому // Там же. С. 449).

²⁰⁸ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 150.

Божественной жизни, «да» или «нет» – вечности. Так у Сони и Раскольникова, у князя Мышкина и Рогожина, у Макара Ивановича и Версилова, у Шатова и Ставрогина, у Зосимы и Ивана. Причем эту великую борьбу взаимоотрицающих идей, происходящую в мире, Достоевский раскрывает через диалогическое общение своих духовно равноправных героев. Борьба идет не между людьми, а между идеями – через людей.

«Несть наша брань против плоти и крови», – сказал апостол. В том и убедительность романов Достоевского, всего узла их диалогов, что он, как христианин в познании, ощущает изображаемых им людей, независимо от их идейного содержания, одинаково несущими образ Божий, одинаково детьми Божиими, а потому дорогими и понятными. Благодаря этой «божественной» точке зрения Достоевский был в силах раскрыть в человеке чужих ему идей всю возможную его убедительность, все возможное его оправдание: в самой глухой темноте чужой души он ищет следы «начала творения». Даже лицо столь ненавистного ему Петра Степановича автор в главе «Иван-Царевич» освещает на один миг среди беспросветной ночи романа вспышкой искреннего вдохновения.

Любовь к человеку – ключ к художественному творчеству Достоевского. Как-то он сказал Опочинину про Тургенева: «Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает»²⁰⁹. Достоевский любит, кажется, даже Смердякова и, с горестью прощаясь с ним перед его виселицей, вкладывает ему в руки книгу Исаака Сирина – одну из важнейших книг христианской письменности о борьбе Добра и Зла в мире и в то же время книгу, учившую о молитве даже за демонов. Как же после этого не молиться за Смердякова! Достоевский не мог не любить каждого, чувствуя, что за «каждым» стоит Христос. И.С. Аксаков пишет: «Он умел в каждом опознать брата и Бога»²¹⁰. Это и было причиной и источником его любви. «Чудотворный образ Христа» в человеке был для него не благочестивой аллегорией и не поводом для очередной проповеди, а – каждый раз! – радостным открытием, живой религиозной, а тем самым и художественной правдой.

Это и объясняет победоносную убедительность его диалогов. Их ведут не «правдины» или «скотинины» фонвизинской сцены, а люди из плоти и крови, еще не завершенные в своем духовном пути, со всеми еще возможностями, до последней минуты жизни и темного, и светлого бытия. Ведь о каждом человеке – о и себе самих! – мы не знаем – чем кончится та борьба Бога и дьявола в его сердце, о которой так просто и верно сказал Дмитрий Карамазов.

Но равноправность людей не есть для автора равноценность идей. Даже в политике сосуществование людей и стран не мыслится как измена своей идеологии. «Опознавая в каждом Бога», Достоевский видел Его – в одном человеке упокояемым в любви, а в другом – распинаемым в ненависти, и та же любовь к человеку не могла оставить его равнодушным зрителем человеческого безумия.

Поэтому чем объективнее были его диалоги, чем больше он умел находить какую-то правду в своем отрицательном герое как человеке, тем сильнее воспринимает читатель неправду омрачающей человека идеи. Ставрогина автор определенно любит и все ищет, как бы его оправдать, но в ходе романа на всю его «идею» ложится уже не тень, а бесовская ночь. Смердякова автор жалеет, но «смердяковщину» он заклеил навсегда перед всеми, и это слово, сделавшись клеймом, выделилось из контекста романа, стало – так же как, например, «маниловщина» – сохранять и вне романа свое смысловое значение характеристики общечеловеческого зла. Таким же новым термином заклеенной идеи стала «карамазовщина» или «шигалевщина»²¹¹.

²⁰⁹ Опочинин Е. Н. Беседы с Достоевским // Звенья. 1936. [Вып.] 6. С. 469.

²¹⁰ Аксаков И. С. По поводу смерти Достоевского // Русь. 1881. 7 февр.; Аксаков И. С. Славянофилы и западники // Сочинения: В 8 т. М., 1886. Т. 2. С. 491.

²¹¹ О вхождении терминов «карамазовщина» и «смердяковщина» в обиход литературного языка см.: Ашукин Н. С. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения. М., 1955.

Достоевский умел клеймить своими художественными несмываемыми красками, и читатель ясно видит, на стороне каких идей автор²¹². Поэтому никак нельзя отрывать Достоевского-художника от Достоевского-мыслителя, расщеплять его образ и считать, что в художественном творчестве он был только «медиум», передающий некое свое видение «равноценных идей»; что идеи автора как мыслителя-христианина не имеют в его романах функции авторских идей, что они только «равноценные члены большого диалога»²¹³. А именно к такой музыкально-медиумической передаче и сводится та этически безразличная фиксация идей, которую ему иногда приписывают и которая, конечно, так удобна для литературного гурманства.

Христос сказал людям: «Имейте соль в себе». Из романов Достоевского хотят вынуть их «соль», их «нравственную встряску» и сделать их приятным или ни к чему не обязывающим державинским лимонадом. Его романы настолько очевидно находятся в орбите христианских тез и антитез, что необходимо внушить мысль об их художественной «над-идейности». Опорочить Достоевского как мыслителя и публициста очень легко: он-де писал у Мещерского и был под влиянием Победоносцева. Но вот когда совершенно те же мысли, которые он высказывал в «Гражданине» Мещерского, обнаруживаются в его художественных шедеврах, тогда это дело серьезное: тут надо бороться уже не с редактором «Гражданина», а с писателем мирового значения. И тогда возникает желание доказать, что идеи его героев – Зосимы или Шатова, Смердякова или Фомы Опискина – были для него только «предметом изображения», а не жизнью и болью души. Что его романы – это только «полифония сосуществующих сознаний» и идей, так как «художественное изображение идеи возможно лишь там, где она ставится по ту сторону утверждения или отрицания»²¹⁴.

Сделав из половинки расщепленного Достоевского музыкального медиума, его ставят «по ту сторону добра и зла», и это нищенское состояние называют «полифоническим мышлением». А в этом состоянии писатель уже не защищает правду своей жизни, так как и для него самого, и для его героя Раскольников стирается грань между добром и злом и нет нравственного центра.

Создав роман «Бесы», Достоевский писал о нем: «Весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман» (11: 303). «Для того» он и писал романы, чтобы «владычествующая идея видна была... чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива» (9: 133). Показывать ее, эту идею, влекущую его на протяжении всей жизни, и было его «дивной и трагической задачей» в искусстве.

А то что он, выполняя ее, давал нам не иллюстрации к публицистике, а живых людей со всей еще незавершенностью их духовного лица, со всей убедительностью их, хоть малейшего, искания правды, со всем страданием этих правых и неправых детей Божиих, – так в этом только особенно обнаруживается его христианская точка зрения на человека, а также его идеалистический реализм. Известно, что Достоевский сам причислял себя и к тому и к другому.

«Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики, – пишет он в 1868 году Майкову. – Мой идеализм – реальнее ихнего... Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавают... Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты... Не смейтесь над моим самолюбием, но я как Павел: «Меня не хвалят, так я сам буду хвалиться» (28, кн. 2: 329).

Починковская рассказывает, что ее знакомые литераторы «восхищались известной картиною Ге – «Тайная вечеря» – за ее «реализм», за то, что изображаемое в ней событие носит характер такой

²¹² Вместо ни к чему не обязывающей «полифонии» Достоевский создавал новые идейные клейма. См. также письмо к Н.А. Любимову (май 1879 г.): «Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой и работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом» (30, кн. 1: 64).

²¹³ См. об этом: Бахт и н М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 103–134.

²¹⁴ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 103–134.

обыкновенности, как будто дело происходит в наши дни, в Петербурге, где-нибудь на Польшяческой, за ужином в складчину... все апостолы на картине – как будто современные «социалисты», Христос – по-нынешнему – «хороший, добрый человек, с экстатическим темпераментом"... А Достоевский говорил о той же картине: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же Мессия, обетованный миру Спаситель, – где же Христос?..»²¹⁵.

Вера Достоевского в Богочеловека, его искреннее христианство определяли все его отношение к теории и практике искусства.

В свете этого можно рассмотреть одну частную проблему. Как известно, Достоевский неоднократно изображал в своих романах преступления или факты сексуальной жизни. Но он никогда не давал их во «французской», так сказать, обработке, сделавшейся точно обязательной для множества писателей. В плане «Жития великого грешника» (конец 1869 года) есть такая ремарка: «Действие разврата; ужас и холод от него» (9: 126). Достоевский в эпоху зрелого творчества дает не описание греха и тем более не смакование его, а только его «ужас и холод». «Взял Zola (Золя)... – пишет он в июле 1875 года жене, – и представь себе: едва могу читать, такая гадость» (29, кн. 2:100). Мы знаем искренность его писем, то, что они написаны, как он говорил, не для потомства. С.Д. Яновский, вспоминая молодость Достоевского, пишет: «Сходством (своей головы с головой Сократа. – С.Ф.) он был очень доволен, находил его сам и обыкновенно... добавлял: «А что нет шишек на затылке, это хорошо – значит, не юпошник»²¹⁶.

Очень характерно, что и эта черта, так же как и религиозность Достоевского, вызывает раздражение у не принимающих христианство. Вот один яркий пример. «Раздражающая отъединенность духа от тела, – пишет Вересаев, – хилость связи между ними, делает героев Достоевского совершенно неспособными к яркой, цельной страсти... Раскольников любит Соню. Но как-то странно даже представить себе, что это любовь мужчины к женщине... Даже подозрения нет о той светлой силе, которая ведет любящих к телесному слиянию друг с другом и через это телесное слияние таинственно углубляет и уярчает слияние душевное»²¹⁷.

Действительно, у Достоевского, и, кстати сказать, у Диккенса, мы не найдем «телесных слияний», так очевидно необходимых многим читателям и «уярчающих» слияние душевное. Как бы ни была темна сама по себе душа Достоевского, но искусство оставалось для него всегда святыней, полем борьбы со злом мира, а не увлекательным способом бунинского выписывания половых переживаний во имя «реалистического мастерства». Женские образы Достоевского насыщены стихией пола до почти осязаемой телесности, но он не раздевает их, он окружает их атмосферой неприкосновенности для читателя. Можно представить себе, что сделал бы Бунин из сцены Свидригайлова с Дуней, Рогожина с Настасьей Филипповной, Ставрогина с Матрешей или Лизой, Алеша с Грушенькой на его коленях. Люди, оправдывающие подобное мастерство, или не представляют себе реальности того, как оно калечит души, или же, попросту говоря, сами нуждаются в смаковании страсти.

Анна Григорьевна вспоминает, что, прощаясь перед смертью, он сказал: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно»²¹⁸. Это было в 1881 году. А в мае 1867 года, через три месяца после свадьбы, он писал ей: «Мне Бог тебя вручил, чтобы ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я грехи свои огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит» (28, кн. 2:184).

²¹⁵ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. С. 131.

²¹⁶ Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском // Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 164.

²¹⁷ Вересаев В. В. Живая жизнь: (О Достоевском и Льве Толстом) // Вересаев В. Собр. соч.: М., 1961. Т. 3. С. 305.

²¹⁸ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 397.

Но не отрывая внутренне искусство от христианства, он в то же время никогда их не смешивал. В 1879 году Вл. Соловьев привез ему в подарок от вдовы поэта А. Толстого большую фотографию Сикстинской Мадонны. Достоевский настолько любил это произведение искусства, что его жена часто заставляла его стоящим перед фотографией в глубоком умилении, даже не слышащим ее прихода в комнату²¹⁹. А рассказывая о посещении дрезденской православной церкви, та же Анна Григорьевна замечает: «Образ Богоматери на правой стороне иконостаса взят с Мадонны Рафаэля (что Федя очень не одобряет)»²²⁰. «Пели, – добавляет она, – каким-то чрезвычайно странным и не слыханным мною напевом, как поют романсы».

То же разграничение чувствуется в рассказе Кони о посещении Достоевским в 1876 году колонии для малолетних преступников. По дороге домой, после сосредоточенного молчания, Достоевский сказал: «Не нравится мне ихняя церковь: точно музей какой-то!.. Нужно несколько изображений, но строгих и даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина, да и напоминать они должны... далекую деревню... где иконостас неискусного, но верного преданию письма. А тут всё какая-то расфранченная итальянщина»²²¹.

Для Достоевского нет антиномии в проблеме «искусство и христианство», так как все от Бога: «Всё от Него, Им и к Нему, Ему слава во веки». Но если «всё к Нему», то и художественное мастерство тоже должно быть «к Нему». Об этом есть прямое свидетельство в одном письме Достоевского 1880 года. «Я был в каторге в Сибири 4 года, – пишет он П.Е. Гусевой, – но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней. С 15-го июня по 1-ое октября я написал до 20 печатных листов романа и издал «Дневник писателя» в 3 печатных листа. И однако, я не могу писать с плеча, я должен писать художественно. Я обязан тем Богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей России» (30, кн. 1: 216).

И в художественном мастерстве Достоевский чувствовал себя в долгу перед Богом.

Вопреки всей своей душевной неустроенности он вполне целен в ощущении задач искусства. Искусство для него – борьба за Бога – в себе и в других. Прав был И.С. Аксаков, написав через неделю после его смерти: «Достоевский не дал никому права ошибаться на его счет, делить его надвое и производить из его творений какие-то экстракты с очищением от «мистических» примесей. Он един во всем разнообразии своих произведений, он целен с начала и до конца своего авторского поприща. Всё у него исходило из одного и сводилось к одному – из Христа и к Христу»²²².

М. Горький сказал: «Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру»²²³. Но в достижении этой своей художественной изобразительности Достоевский идет каким-то своим путем, можно сказать, тоже путем страдания. В 1880 году он сказал молодому Мережковскому: «Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать»²²⁴. «Я же и вообще-то работаю нервно, – писал он в том же году И.С. Аксакову, – с мукой и заботой. Когда я усиленно работаю – то болен даже физически» (30, кн. 1: 214).

Его «творческую лабораторию», как теперь любят говорить, открывает один страшный документ: «Дневник припадков падучей», который он вел в 1870 году, во время работы над «Бесами», то есть над «одним из лучших его произведений»²²⁵, по определению Горького. Вот несколько выписок.

²¹⁹ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 378

²²⁰ Достоевская А. Г. Дневник. М., 1923. Запись 30 апр. (12 мая).

²²¹ Кони А. Ф. Встречи с Достоевским // Вестник литературы. 1921. № 2. С. 8.

²²² Аксаков И. С. По поводу смерти Достоевского // Русь. 1881. 7февр. См. также: Аксаков И. Соч.: В 8 т. Т. 2. С. 491.

²²³ Горький М. Доклад на Первом съезде советских писателей // Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 401.

²²⁴ Гроссман Л. П. Материалы к биографии Ф.М. Достоевского (даты и документы) // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 617.

²²⁵ См. высказывания М. Горького о «Бесах» в кн.: Ф.М. Достоевский в русской критике. С. 386–402.

«10 февраля / 29 января. В три часа пополудни припадок чрезвычайной силы, в снях, наяву. Я упал и разбил себе лоб. Ничего не помня и не сознавая, в совершенной целостности принес, однако же, в комнату зажженную свечу и запер окно, и потом уже догадался, что у меня был припадок. Разбудил Аню и сказал ей, она очень плакала, увидав мое лицо. Я стал ее уговаривать, и вдруг со мной опять сделался припадок, наяву... вот уже четверо суток припадку, и голова моя еще очень не свежа... О работе и думать нечего...»

1870/Мая. Припадок наяву, после суток в дороге, в Гомбурге... Очнувшись, довольно долгое время был не в полном уме и помню, что ходил по всему отелю и говорил со встречными о моем припадке... У меня большие заботы. Предстоят жаркие месяцы, страшный усиленный труд – роман в «Русский вестник» (не надеюсь на него)... Что-то будет! В деньгах, до самой осени, будем очень нуждаться!..

13/1 июля. Припадок во сне... Не свежеет голова по неделе. Погода жаркая... Бьюсь с 1-й частью романа и отчаиваюсь. Объявлена война. Аня очень истощена... Почти и не поправились присланными деньгами. Вся надежда на роман...

16/28июля. Припадок во сне... Теперь уже 3-е августа; почти до сегодня не прояснялась голова. Состояние духа было мучительное... Страшная жара... Трещат кузнечики. Денег нет.

7августа. Еще припадок. Ночью... Весь день был очень раздражен... Роман решительно бракуется (ужасно!)...

9сентября. Поутру... довольно слабый... Роман идет медленно, на волю Божию. С деньгами плохо.

10октября/28сентября. Припадок поутру... Дела плохи. Ничего еще не отослано из романа... Аня выбивается из сил... Париж в осаде. Что-то ответит «Русский вестник»?

16октября. Припадок поутру... Тяжелая жизнь!..

22октября. Утром во сне (в 7-м часу) припадок, и когда заснул, то через час еще припадок. Теперь 26-е число, а я еще до крайности расстроен и каждую минуту жду еще припадка. Теперь ночь 26/27 октября. Надворе буря... Денег нет... Надо писать, очень уж запоздал» (27: 101–104).

Вот как жил и работал – не в Ясной Поляне, а в немецких меблированных комнатах – этот человек, изнемогающий и темный, весь устремленный к увиденному им свету, оставивший нам в наследство свои потрясающие офорты.

Его мастерство очевидно. Но «мастер» ли Достоевский в том смысле, как, скажем, Тургенев или Анри де Ренье? Конечно нет. «Формы, жеста не имею» (28, кн. 2: 189), – писал он жене в мае 1867 года. В 1868 году князь Мышкин повторяет эти слова: «Я не имею жеста. Чувства меры тоже нет, а это главное» (8:458). Но значит ли это, что у Достоевского недостает формы, что он пренебрегает формой? Его романы, как сказал Гроссман, – «это философия идей in actu²²⁶, это созерцание идей в действии, это шествие к правде»²²⁷. Но как же может идея достигать своего совершенного действия, не будучи облеченной в адекватную форму? Конечно, у Достоевского есть и «форма и жест», но они для него не самоцель, а только неизбежная стадия воплощения мысли. Содержание и форма у Достоевского – это и есть «идея в действии», сделавшаяся единой живой стихией нерукотворного слова.

Что касается «чувства меры», то в этом была его слабая сторона. «Я помешан на краткости, которая мне не удается» (28, кн. 1:314), – писал он еще из Сибири в 1858 году брату Михаилу. В 1870 году он пишет Страхову: «Исполнение (романа. – С.Ф.) зависит от Бога; могу и испакостить, что часто

²²⁶ В действии (лат.). – Примеч. сост.

²²⁷ Гроссман Л. П. Путь Достоевского//Творчество Достоевского: Сб. статей и материалов / Под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 83.

со мною случалось» (29, кн. 1: 110). Ему же он пишет в 1871 году: «Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии» (Там же: 208). «В романе... много растянуто и не удалось» (29, кн. 1:19), – писал он об «Идиоте». Об этом же романе так говорил Щедрин: «Это гениально задуманная вещь: в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и Бог знает как скомканного»²²⁸.

Можно было бы посчитать это только недостатком чувства архитектуры произведения, если бы недостаток чувства меры иногда не проявлялся и в разработке отдельных идей. Тут дело, очевидно, не столько в художественных недостатках, сколько в дефектах души. Идея страдания в целом совершенно правильно отражена у него. «Всякое великое счастье носит в себе и некоторое страдание, ибо возбуждает в нас высшее сознание» (27: 110). Но иногда высказывания его героев могут вызвать подозрение в создании культа страданий.

В 1877 году, в «Сне смешного человека», он писал: «Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением» (25:116). И в другом месте: «Я хочу мучения, чтобы любить» (25:112). Можно ли христианину «хотеть мучения»? Не сказано ли нам: «Когда гонят вас в одном городе, бегите в другой» то есть избегайте мучения и скорби, пока не увидите, что на принятие их есть воля Божия. От «хотения мучения» себе недалеко и до мучений других. Вот почему Достоевский мог написать жене: «Мне суждено судьбой всех тех, кого я люблю, мучить!» (28, кн. 2: 283). Правда, это писалось в апреле 1868 года, за тринадцать лет до смерти, когда в Достоевском было еще много не только от Мармеладова, но и от «Подполья».

Так или иначе, но его рука при осуществлении художественного замысла иногда дрожала в каких-то непроверенных или непросветленных эмоциях и проводила линию дальше, чем это было нужно.

Возможно, что недостаток чувства эмоциональной меры увеличивался в связи с ненормальными условиями работы. До самых последних лет он работал, подгоняемый крайней материальной нуждой, всегда спешил, всегда работал по ночам. Кстати, о работе по ночам. Когда он писал «Преступление и наказание», он жил одно время в доме купца Алонкина. «Великий трудолюбец, – говорил про него этот Алонкин. – Я к заутрене иду, а у него в кабинете огонь светится, значит, трудится»²²⁹.

Но спешил работать он, конечно, не только от материальной нужды. «Во мне, как в писателе, – пишет он в письме к Е.Ф. Юнге, – есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен... В иные тяжелые минуты внутреннего отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, что хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. Спасает при этом меня лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлет Бог настолько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним словом, что выскажу всё, что у меня заключено в сердце и в фантазии» (30, кн. 1: 148). Это он пишет в 1880 году, после «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка» и «Дневника писателя». В это время и «Братья Карамазовы» были уже почти закончены. Он был перенасыщен идеями и образами и точно задыхался в них, «заключенных в сердце». Весь его путь как художника – это путь сердечного высказывания. Это было иногда непосильно, но это и спасало его – и как человека, и как писателя. «Любовь покрывает множество грехов», и не только покрывает, но и ведет за собой и учит. Что может значить несовершенство Достоевского, все его и душевные, и художественные срывы, если он смог на какой-то исторический миг задержать образ Христов в холодеющем мире?

²²⁸ Высказывания М.Е. Салтыкова-Щедрина об «Идиоте» см. в кн.: Достоевский в русской критике. С. 229–232.

²²⁹ См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 125.

Он не только видел и слышал больше других, он многое предчувствовал, и все это свое знание, все свое видение борьбы Добра и Зла в мире он, больной и изнемогающий, в великом волнении спешил передать людям. «Сердце мое с кровью положится в этот роман... Тут положил я мою душу, мою плоть и кровь» (28, кн. 1: 326, 351), – писал он брату Михаилу в 1859 году, и так – плотью и кровью – он писал почти все. Поэтому к его пути художника лучше всего приложимы слова Пастернака: «Цель творчества – самоотдача». И еще другие слова поэта, из стихотворения «На Страстной»:

*И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал.*

Представим себе официальную христианскую проповедь конца XIX века, особенно на Западе. Какое благолепие, какая грамотность, какая неторопливость и спокойствие! И рядом с ней нервный, задыхающийся голос петербургского литератора, который «всё до нитки роздал». Но может быть, мы услышим в этом голосе хоть малую долю того «Христового волнения»²³⁰, о котором в VI веке писал преп. Иоанн Лествичник как о признаке настоящей христианской души.

Глава XII. Обретенный покой

Ошибки и грехи Достоевского всегда и для всех явны, и прежде всего для него самого.

Вот он в 1869 году написал «Вечного мужа» и тут же сообщает племяннице: «Проклятая повесть... Я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала» (29, кн. 1:88). Вот он был груб с посетителем и тотчас пишет ему: «Полчаса после Вас я опомнился и сознал, что поступил с Вами грубо и неприлично, а главное, был виноват сам... Если пожелаете, то приеду извиняться лично... Не оправдываюсь этим объяснением... прошу прощения вполне искренне... так мне велит моя совесть, и слишком мучают ее угрызения» (30, кн. 1: 144). И так во всем. «Это горе (смерть крошечной дочурки Сони в Женеве. – С.Ф.) было большою причиною остановки моей в работе. Анна Григорьевна страдает ужасно... Всё за грехи мои» (28, кн. 2: 301), – пишет он в июне 1868 года П. Исаеву.

При всей его сложности это была простая русская душа, для которой вся духовная жизнь полностью уместается в двух категориях: покаяния и любви. Так было и в его зрелом творчестве. Кто-то из современных литературоведов хорошо сказал, что все большие романы Достоевского – это только различные вариации одной евангельской темы: о блудном сыне, о сыне, возвращающемся в Отчий Дом. Практика христианства давалась Достоевскому с большим трудом, но он упорно не хочет ничем иным питаться, кроме него. Следя за его биографией, видишь, что он все время ошибается, падает и опять встает. Невольно вспоминаешь рассказ Патерика: «Брат спросил авву Сисоя Великого: авва! что делать мне? – я пал. Старец отвечал: встань. Брат сказал: я встал и опять пал. Старец сказал: снова встань. Доколе же мне вставать и падать? – спросил брат. До кончины твоей, отвечал старец». Характерно, что даже те молитвы, которые иногда вспоминает Достоевский в печати, – это покаянные молитвы Великого поста.

Говоря о русском народе, он пишет в «Дневнике писателя» 1880 года: «Он всё знает, всё то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: «Господи сил, с нами буди!»... а в нем, в этом гимне, уже в одном вся правда Христова. И что в том, что народу мало читают проповедей... Зато выйдет поп и прочтет: «Господи, Владыко живота моего» – а в этой молитве вся

²³⁰ Ср.: «Состояние и закон душ совершенных... Христово волнение... подражатель Владыки помощью Владыки» (Иоанн Лествичник, преп. О добродетелях и страстях // Добротолюбие. М., 1895. Т. 2. С. 501).

суть христианства... Главная же школа христианства, которую прошел он, – это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми... оставался лишь с одним Христом-утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки» (26: 150–151).

На молитву преподобного Ефрема Сирина («Господи и Владыко живота моего»), как известно, обратил свое особое внимание и Пушкин, столь ценимый Достоевским. «Всю суть христианства» они оба увидели в молитвенной тайне великопостной вечерни, когда в тишине покаяния собирается рассеянная страстями любовь. Ведь, как учат отцы, «покаяние или смирение – это начало любви». А о собирании – и чувств внутри отдельного человека, и всего человечества, всех людей в единство любви, в единство, утерянное и ненаходимое, – наверное, больше всего болел Достоевский всю свою жизнь, начиная с мучительной болезни «Двойника».

«Мне всё кажется, – пишет Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 года, – что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются... Разрывают прежние связи без сожаления... Всё разбилось и разбивается» (22: 80). «Папство есть, может быть, самое страшное «обособление», из всех грозящих миру всего мира. А грозит миру многое. И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно всё подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры...» (22:90), – писал он. Позднее добавил: «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» (25: 84). Как сказано в одних стихах:

*В безумной погоне толпы спешат;
И каждый каждому больше не рад.*

И вот в эту эпоху, когда, как сказано в «Подростке», «скрепляющая идея совсем пропала» (13:54), – он нашел ее, эту идею, опять-таки в покаянии и любви, но и в покаянии уже не только за себя, за вину перед самим собой, но в покаянии и за свою вину перед всем миром, перед всеми людьми, – во имя любви к этим людям.

Зосима в «Братьях Карамазовых» говорит: «Каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично... Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека... Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения» (14: 149).

Эта мысль жила в Достоевском, во всяком случае, последние десять-двенадцать лет. Ее начинает высказывать уже князь в «Идиоте». «Вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват» (8:484), – говорит он. И в черновиках к «Идиоту» Достоевский записывает: «Теория практического христианства» (9: 268); «Смирение Князя. Князь положительно считает себя в результате хуже всех» (Там же: 275); «Смирение – самая страшная сила, какая только может на свете быть!» (Там же: 241, 270). О всеобщей вине ясно говорят в «Бесах» Шатов и Степан Трофимович: «Все виноваты, все виноваты... Все и каждый один пред другим виноваты. Все виноваты!...» (10:446, 491). Эту же мысль вызывает Тихон в Записных тетрадах к «Бесам»: «Узнает душа, что каждый за всё ответчик... Всё, что случилось и об чем даже не ведал, могло быть по примеру Христову одною лишь любовью Его полно» (11: 190). И еще яснее – в «Исповеди Ставрогина»: «Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил, и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет» (Там же: 26). «Был бы я сам праведен, – повторяет через десять лет Зосима, – может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы... Поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как Единый безгрешный и не светил» (14: 291–292). Вот почему еще в 1870 году Достоевский писал, что «ад есть сознание любви неисполненной» (11: 190), вот почему каждый «перед всеми во всем виноват» (10:491).

Сознание безмерности того, что открыто миру жертвой Христовой, делает безмерной вину всякого, так как всякий «мог светить как Единый безгрешный и не светил» (14:492). Тут Голгофа каждого. У св. Димитрия Ростовского есть такая молитва: «Уязвлено и уранено буди сердце мое Твоею

Божественною любовью, Господи». Подвижники Церкви жили в этом уподоблении Голгофы, и в этом именно и есть та бездна, которая отделяет их от подвижников ложных, Амвросия и Леонида – от Ферапонта, Церковь истинную – от ее двойника. Достоевский почувствовал всю силу этой великой скрепляющей идеи единства: единства ответственности и единства любви. Может быть, тут ему опять помог Паскаль, у которого есть такие мысли: «Один камень производит изменения в целом море. Так и в благодати: малейшее ее действие влияет на всё остальное. Стало быть, всё важно»²³¹. «Юноша брат мой, – говорит Зосима, – у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо всё как океан, всё течет и соприкасается, в одном месте тронешь – в другом конце мира отдается... Всё как океан, говорю вам» (14: 290).

«Согрешение брата мы должны считать за свое собственное»²³², – учили еще в VI веке преп. Варсонофий и Иоанн. Идея всеобщей вины есть одно из поразительных следствий великой идеи всеобщего человеческого единства, апостольской идеи спасаемого человечества как единого Тела Христова, которое испытывает страдание при заболевании любой своей части, любой клетки. В эпоху Достоевского это учение пробилось сквозь академическую рутину в работах архимандрита Феодора (Бухарева), учившего, что всякое личное зло или грех человека есть отвержение им любви и жизни Божией, то есть омертвление данной малой клетки всечеловеческого тела, и что все мы должны принимать это омертвление, кем бы оно ни было допущено, как свое собственное, потому что все мы «уды единого тела». Отсюда неизбежно и страдание каждого за всех и всех за каждого, страдание за других по образу Христову. Идея вины каждого за всех есть возрождение самого существа христианства – подражание крестной жертве Спасителя. Биограф архимандрита Феодора отмечает, что в практике жизни, при работе инспектором Казанской духовной академии, он «смотрел на себя как на члена одного со студентами Тела, одной небольшой Христовой Церкви, и каждую вину студента считал своею, страдал за нее как за проявление собственной мертвенности, вследствие удаления от Христа»²³³. Работы архимандрита Феодора печатались с 1849 до 1866 года. Уже после его смерти (в 1871 году) была опубликована его статья о «Преступлении и наказании»²³⁴.

После Достоевского и архимандрита Феодора идея всеобщей вины и ответственности каждого за других с новой силой ожила в богословской мысли XX века. «Все за всех отвечают... человек ответственен за человека»²³⁵, – пишет священник П. Флоренский. «Что нет Христа в нашей жизни – это наша вина... Все эти блуждания вне Церкви, а значит и все действия, обусловленные заблуждением, вся общественная неправда, вся мучительность жизни – все это тоже наша вина. Вина, которая слезами и кровью вписывается в историю мира»²³⁶, – утверждал В. Эрн. О том же писал Экзюпери: «Каждый человек ответственен за всех... Моя культура, наследуя Богу, сделала каждого человека ответственным за других и всех людей – ответственными за одного человека»²³⁷. Тому же учил наш современник авва Силуан. Перекликающиеся голоса этих людей лишней раз подтверждают, что непостижимы нити, связующие христиан в единый благодатный организм, в таинственное Тело Христово, как определяет Церковь апостол.

²³¹ Паскаль Б. Мысли о религии. С. 88.

²³² Варсануфий Великий, Иоанн, преподобные. Руководство к духовной жизни. М., 1883. Ответ 450.

²³³ См.: Па нте л ее в Д. Ф. Воспоминания. М., 1858. С. 451. См. также: Богословская энциклопедия. 1901. Т. 2. С. 1201. Те же мысли Достоевский мог найти у К. Е. Голубова, которым он так пристально интересовался в эпоху «Бесов». Голубов, например, писал: «Мы боимся за зло, окружающее нас, а не видим, что мы причина его». Цит. по: Субботин Н. Русская старообрядческая литература за границей. С. 119. См. также: Русский вестник. 1868. Июль-авг.

²³⁴ См.: Православное обозрение. 1884. № 6.

²³⁵ Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 290, 435.

²³⁶ Эрн В. Наша вина // Век. 1907. № 3. С. 35.

²³⁷ См. повесть Экзюпери «Военный летчик». Об отношении Экзюпери к Достоевскому можно узнать у Марселя Мижо (см. его книгу: Сент-Экзюпери. М., 1963. С. 24, 42). У Экзюпери есть целый комплекс идей Достоевского: нравственный дуализм, отношение к Библии, оценка смирения, общность ответственности, чувство греха и др. Культура этого нашего современника, как он сам о ней сказал, – «наследница христианских ценностей», а тем самым и «наследница» Достоевского.

Еще Шатов говорил: «Я верую в Тело Христово» (10: 200) и «Народ – это тело Божие» (10:199). В «Братьях Карамазовых» именно к этому апостольскому осознанию и определению Церкви стремится, иногда точно на ощупь, Зосима. «Кто не верит в Бога, – говорит он, – тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню Его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе» (14: 267). Конечно, в этой идее у Достоевского есть что-то как бы не оформленное, еще расплывчатое и сползающее иногда на вздыхание вообще о народе. Но все же и в основе его идей (уже давно осмеянных и врагами, и друзьями) о «Святой Руси» и «народе-богоносце» лежит идея Святой Церкви, действительно святой, Церкви как Тела Божия, не осязаемого для человеческого ума и юридических понятий, живого Организма любви, «океана благодати», о котором Достоевского учили и апостолы, и Паскаль. Это и есть та мистика христианства, которой хотел бы избежать Достоевский, но не избежал, так как и невозможно ее избежать: она есть мистика любви, и для Достоевского – «влюбленного в любовь» – она стала логическим и завершающим словом, совершенной реальностью. О ней говорится в видении Алеши загробного мира у гроба старца. «Веселимся, – продолжает сухенький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой... Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь... Что наши дела?.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли Его?» (14: 327).

В область мистики Достоевский премудро вступает с луковкой любви, то есть оставаясь совершенно верным себе и в то же время утверждая свою любовь к человечеству, свою мечту о Единстве человечества – в ином мире, в Вечности. Это мистическое завершение идеи всей его жизни замечают и неверующие: «У Достоевского гармоничная соборность есть только нормативный идеал или нечто осуществляющееся в вечности, в бесконечности, в метафизической плоскости»²³⁸, – говорит Луначарский.

«Тем-то и сильна великая нравственная мысль, – писал Достоевский, – тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется не немедленной пользой, а стремится их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной» (26: 164). Несмотря на не оставляющую его мечту о «земном рае», к которой он иногда возвращается, Достоевский начинает понимать, что преодоление разъединенности людей совершается и совершится только сверхрациональным путем, то есть уже за пределами и за нормами этой истории, но что важнее всего – совершится той самой любовью, начало которой здесь, на земле, в обыденности этой любви. И для человека, собственно, достаточно знать это блаженное начало спасения мира, эту великую обыденность любви»²³⁹.

В Евангелии есть притча о человеке, нанявшем с утра работников в виноградник свой по динарию в день. Потом он еще вышел «на торжище» в 3-м часу, и в 6-м, и в 9-м часу, и еще нанимал рабочих. Наконец, вышел он и в 11-м часу и нанял последних «стоящих праздно». А когда стал всех их рассчитывать, то по динарию получили и эти последние, как и первые, «перенесшие тяготу дня и зной» духовного труда. Можно ли уложить это божественное уравнение первых с последними кающимися грешниками в нормы человеческих понятий? Оно укладывается только в безмерном милосердии Божиим, ожидающем нашего малейшего вздыхания покаяния и любви. Эта притча – наше пасхальное упование: «Все насладится пира веры, все восприимите богатство благодати». И вот у Достоевского в одной из Записных тетрадей 1870 года мы читаем такое как бы добавление ее, очевидно ставшее необходимым в наше страшное время: «Тихон: «Иже в 12-ый час. Песня ангелов». Безмерно великодушно слово» (11:288). Можно было бы сказать, что именно здесь, в этом полунощном ощущении безмерного великодушия Христова к пришедшим хотя бы в «12-м часу», и лежит главное богатство наследства Достоевского. Эта «песня ангелов», им подслушанная, для нас,

²³⁸ Луначарский А. В. О «многоголосости» Достоевского //Ф.М. Достоевский в русской критике. С. 425–426.

²³⁹ «Весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя», – учил апостол Павел (Гал. 5, 14). «Нравственность Христа в двух словах, – пишет Достоевский, – это идея, что счастье личности есть вольное и желательное отрешение ее, лишь бы другим было лучше» (11: 193).

изнемогающих от грехов и болезней, нужнее всего, как настоящий хлеб среди только муляжей его на богословской витрине. С этим хлебом и мы бестрепетно вступаем в область мистики, в ее «глубину и высоту», зная, что «ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе».

Вступив в эту область мистики, Достоевский остался верен и своему реализму. Реализм в мистике утверждает возможность и необходимость ощущения непознаваемого. «Многое на земле от нас скрыто, – говорит Зосима, – но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных... Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло всё, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» (14: 290). Так пишет писатель Достоевский, и так же учили все множество святых и учителей Церкви. Приходится только удивляться, с какой смелостью некоторые литературоведы объявляют Достоевского каким-то открывателем религиозного ощущения в противовес бесчувствию так называемого «аскетического христианства». «В нас не холодное созерцание свойств Божиих, а живое ощущение их»²⁴⁰, – пишет епископ Феофан Затворник.

«Кончается жизнь моя, – говорит Зосима, – знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новой, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце...» (14: 265).

«Явный знак светильника веры, горящего... в сердце, – пишет св. Тихон Задонский, – есть радость духовная, в сердце ощущаемая... Ибо где вера к Богу, там и радость о Боге. Что бо любим, о том и радуемся»²⁴¹. «Христианство странно, – пишет Паскаль, – оно повелевает человеку признать себя ничтожным и в то же время повелевает ему уподобляться Богу»²⁴². «А Бог наш есть Бог блаженства... радуется и играет дух наш, когда благодать Духа Святого делает его причастником Божества»²⁴³, – пишет епископ Феофан Затворник. Все заповеди Нового Завета – это заповеди блаженства, то есть счастья, ощущаемого уже здесь, на земле.

«Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы» (14: 51), – утверждал Зосима. «Царство Божие внутри вас». Об этом внутреннем Рае человека, еще здесь, на земле, начинаемом среди трудов и несчастий, Достоевский начал писать тоже уже в 1870 году, работая над «Бесами». В одной из Записных тетрадей есть слова: «Идеи Голубова суть смирение и самообладание и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же... Голубов говорит: Рай в мире, он есть и теперь» (11:121,131). «Рай в каждом из нас затаен, – говорит в «Братьях Карамазовых» Михаил – друг молодого Зосимы. – Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было... Теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится» (14: 275, 283). «В сердце жизнь, там и жить надобно, – учит епископ Феофан. – Не думайте, что это дело совершенных. Нет, это дело всех начинающих искать Господа. Тогда только и начало жизни, когда в сердце покажется сосредоточенная неугасаемая теплота... Се есть огонь, который Господь пришел низвести на землю... Вот блаженное состояние! Вот и рай!»²⁴⁴ И св. Тихон: «О, блаженное такового сердца состояние! Оно еще здесь на земле чувствует частицу небесной радости. Сего богатства и утехи подобает нам, христианам, искать»²⁴⁵. «Награды же никогда не ищи, – говорит Зосима в романе, – ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает» (14: 292).

²⁴⁰ Феофан Затворник, еп. Письма о христианской жизни. С. 371.

²⁴¹ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 89

²⁴² Паскаль Б. Мысли о религии. С. 72.

²⁴³ Феофан Затворник, еп. Письма о христианской жизни. С. 378.

²⁴⁴ Там же.

²⁴⁵ Тихон Задонский, св. Сокровище духовное, от мира собираемое. Т. 4. С. 90.

Сердце, радостно ощущающее Бога, тем самым ощущает и человечество, спасаемое в Боге, и всю воздыхающую о Боге тварь.

О воздыхающей твари есть фреска XV-XVI веков в Москве, в Благовещенском соборе, называемая «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь»: наверху, как венец твари, Богоматерь, кругом Ее и сверху вниз все человечество, от пророков и апостолов до греческих философов дохристианской эры, и весь тварный мир, и весь океан твари – с горами и реками, цветами и птицами. К этому ощущению вселенского единства и радости привел Достоевский, после луковки у Груши, своего Алешу, когда «над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд» и когда «как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасалась мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят» (14: 328).

Вот где – в покаянии и любви – познается, что такое мир Божий и люди Божии, что такое христианство. Флоренский пишет: «Только христианство нанесло сердцу рану влюбленной жалости о всем сущем, благоговеющей любви ко всему «первородному Адаму»²⁴⁶.

В записной книжке 1880 года есть у Достоевского такая запись: «Социализм и христианство. Попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начнется другая?.. В христианстве и вопрос немислим этот... Повеет дух новый, внезапный» (27: 49).

«Так завершается, – пишет Гроссман, – эволюция гениального мистика»²⁴⁷. Мы бы сказали, что она завершается тем же, с чего началась, – любовью к людям.

Наследство Достоевского огромно. Несмотря на болезненную трудность его мышления, несмотря на отдельные ошибки этого мышления, он оставил нам ясные и простые в своей правде мысли – о грехе и нравственной двойственности человека, о страдании и подвиге его очищения, об искании красоты и святости в людях и в мире, о теплой Земле и Церкви человечества, о радости ощущения Бога и любви Божией, которая все «покрывает, всего надеется, всё переносит» . Но мне кажется, что главное его значение для нас не в этих отдельных и многих других христианских истинах, произнесенных им перед всем миром с такой убежденностью, с таким волнением, а во властном подведении нас ко всей совокупности их, в призыве к слушанию, познанию, питанию ими в таком же призыве, как удар колокола перед обедней, который как будто ничего отдельно не говорит, но в то же время так ясно зовет, будит нас и умиляет: встань и иди и слушай «все сии слова жизни». Достоевский точно ударами в сердце напоминает о Христе.

Это особенное его дарование или назначение в мире хорошо выражено у Починковской, рассказывавшей об одном его публичном чтении главы из «Братьев Карамазовых» в 1879 году. «Мы слушали это, – пишет она, – с возраставшим волнением и с трепетом сердца тоже хотели «простить»! И вдруг всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что... нельзя медлить ни на минуту... Нельзя потому, что каждый миг нашей жизни приближает нас к вечному сумраку или к вечному свету, – к евангельским идеалам или к зверям. А неподвижной середины не существует... И если это настроение было только минутным для одних его слушателей, – для других оно явилось переворотом на целую жизнь»²⁴⁸.

Предсмертная болезнь Достоевского началась внезапно, кровотечением из легких 26 января 1881 года. Смерть наступила 28 января (ст. ст.), в день памяти того преподобного Ефрема Сирина, в покаянной молитве которого писатель видел суть христианства. Смерть Достоевского поражает нас своей легкостью, точно милосердием. Вспомним хотя бы жуткое умирание Тургенева. Уже вечером

²⁴⁶ Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 321.

²⁴⁷ Гроссман Л.П. Путь Достоевского // Творчество Достоевского: Сб. статей и материалов / Под ред. Л.П. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 107.

²⁴⁸ Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем //Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 183–184.

Достоевский пригласил священника для исповеди и причастия. «Когда священник ушел, – вспоминает Анна Григорьевна, – и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня. Я стояла ни жива ни мертва, не имея силы сказать что-нибудь в ответ»²⁴⁹. Дочь Достоевского вспоминает, что отец, прощаясь с детьми, велел их матери прочесть вслух 15-ю главу Евангелия от Луки – притчу о блудном сыне, им особенно любимую²⁵⁰. Он окончательно возвращался в Дом Отчий.

«Около семи утра (28-го января, – С.Ф.) я увидела, – пишет Анна Григорьевна, – что муж смотрит в мою сторону... «Знаешь, Аня, – сказал Федор Михайлович полупшепотом, – я уже часа три как не сплю и всю думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру... Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске (когда он ехал на каторгу, – С.Ф.) женами декабристов. Оно всегда лежало у мужа на виду на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего). И теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть. Открылось Евангелие от Матфея, гл. III, ст. 14–15: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Ты слышишь? – ‘не удерживай’ – значит, я умру», – сказал муж и закрыл книгу... Около девяти утра Федор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей... В восемь часов тридцать восемь минут вечера Федор Михайлович отошел в вечность»²⁵¹.

И вот можно сказать, что та соборность, то церковное единство людей, о которых так мечтал всегда Достоевский, совершенно неожиданно открылись во время его похорон.

«Еще никогда никого так не хоронили: ничего подобного не видывал Петербург, – пишет И. Аксаков через несколько дней после похорон. – Все эти внезапные, не предуготовленные, не предумышленные, а потому несомненно искренние изъявления участия, признательности, уважения, – всё это чествование, так нечаянно, само собой, вдохновенно сложившееся, – исполнено важного смысла»²⁵².

«Похороны Достоевского, – пишет Страхов, – представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа... не могли ожидать самые горячие поклонники писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон... Каким образом составила такая громадная манифестация – это составляет немалую загадку... Эти похороны... были истинным событием»²⁵³.

«Никогда еще не бывало такого русского братства, сплотившегося воедино, – читаем мы в одном отчете о похоронах. – Это были национальные русские проводы национального русского писателя... Толпы народа, провожавшего тело Федора Михайловича, состояли из 25–30 тысяч человек... На всем пути этой процессии, по обе стороны Невского проспекта, шпалерами стоял народ... Во всё время следования – от Кузнечного переулка до ворот Александро-Невской лавры, пели неумолкаемо «Святой Боже» все воспитанники и воспитанницы учебных заведений, каждая группа отдельно и вполне самостоятельно, причем, ввиду широко раскинувшейся процессии, не слышно было диссонанса. Пели юнкера Николаевского инженерного училища, пели гимназисты и гимназистки, студентки, курсистки и студенты, пели хоры любителей и владимирские певчие. В особенности

²⁴⁹ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 394.

²⁵⁰ Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери. С. 99.

²⁵¹ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 396–399.

²⁵² Аксаков И. С. По поводу смерти Достоевского//Русь. 1881.7февр.

²⁵³ Страхов Н.Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 324–326.

стройно пели любители, курсистки и студенты. Погребальное шествие тянулось чинно, без давки и толкотни. У ворот лавры вышли навстречу воспитанники духовного училища и духовной семинарии; духовенство в полных облачениях, во главе настоятеля лавры... с монастырской братией и лаврскими певчими... Похороны Федора Михайловича происходили на другой день, в воскресенье 1-го февраля»²⁵⁴.

«Погребальное шествие вышло из дома в одиннадцать часов и только после двух часов достигло Александро-Невской лавры... В тот же вечер, 31 января, был совершен Парастас (торжественная всенощная)... Церковь была полна молящихся, особенно много было молодежи, студентов и курсисток. Большинство из них осталось в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении псалтыря над гробом»²⁵⁵.

«Наступил вечер, стемнело, – вспоминает дочь писателя, – толпа почитателей и друзей постепенно рассеялась, готовясь снова явиться на следующий день к похоронам. Но Достоевский не остался один. Петербургский митрополит, живший в Александро-Невской лавре, рассказывал позже: «В субботу вечером я отправился в церковь Святого Духа, чтобы, в свою очередь, поклониться праху Достоевского. Монахи остановили меня у дверей, объявив, что церковь, которую я считал пустой, полна людей. Тогда я направился наверх, в маленькую часовню, окна которой выходят внутрь Свято-Духовской церкви. Я провел там часть ночи, наблюдая за студентами, не видевшими меня. Они молились, плакали, рыдали, стоя на коленях. Монахи хотели читать псалмы, но студенты взяли у них из рук псалтырь и читали попеременно. Никогда я не слышал еще подобного чтения. Студенты читали дрожащим от волнения голосом и вкладывали свою душу в каждое слово»²⁵⁶.

На следующее утро Владимир Соловьев, который вместе с другими выносил гроб из храма, сказал над могилой: «Мы, собравшиеся на могиле, чем лучшим можем выразить свою любовь к нему, чем лучшим помянуть его, как если согласимся и провозгласим, что любовь Достоевского есть наша любовь и вера Достоевского – наша вера. Соединенные любовью к нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом. Тогда только воздадим мы достойное Духовному вождю русского народа за его великие труды и великие страдания»²⁵⁷. Вот как удивительно совершились эти похороны. Конечно, не русский простой народ – тогда, в 80-х годах прошлого века, еще глубоко живший в ощущении своего водительства старцами и святыми, – но русская интеллигенция, стремящаяся к вере, действительно теряла в нем духовного учителя, а главное – духовного друга и отца. Достоевский приводил ее к Вере, не только не отрывая от любви, но раскрывая ей любовь, приводил ее к Небу, но только не отрывая от земли, но, наоборот, научая любить эту землю такую же любовью, какую любят мать. Это, может быть, самое нужное для нее, оторванной от этой земли русской интеллигенции, хорошо выразил поэт Случевский в стихах, прочитанных через две недели после похорон на поминальном вечере:

*Три дня в тумане солнце заходило...
И на четвертый день безмерно велика,
Как некая духовная река,
Тебя толпа к могиле уносила...
И от свечей в руках, от пламени кадила,*

²⁵⁴ Проводы тела Ф.М. Достоевского и погребение // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. Приложения. С. 85–90.

²⁵⁵ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 410.

²⁵⁶ Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери. С. 204. Можно отметить, что отношение митрополита к Достоевскому до наступления этой ночи прощания молодежи со своим учителем было совсем другим. Одна современница похорон пишет насчет ходатайств о погребении Ф.М. Достоевского в Александро-Невской лавре: «Митрополит встретил очень холодно это ходатайство, сказав, что Достоевский – простой романист, что ничего серьезного не написал» (Богданович А. В. Три последние самодержца: Дневник. М.; Л., 1924. С. 43–44).

²⁵⁷ См.: Проводы тела Ф.М. Достоевского и погребение // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. Приложения. С. 94.

*От блеска наших слез, и от живых цветов,
Качавшихся на зелени венков, –
Бессмертие, придя, твой светоч засветило.
И приняла тебя земля твоей Отчизны!
Дороже стала нам одною из могил
Земля, которую, без всякой укоризны,
Ты так мучительно и смело так любил!..*

Вскоре после похорон, в феврале 1881 года, И. Аксаков писал Победоносцеву: «Смерть Достоевского – истинное наказание Божие. Только теперь вполне раскрывается нравственное его значение, как учителя для молодых душ. В нем обрели себе опору и смелость высшие, нравственные идеалы, смутно и робко носимые в душе то того, то другого юноши. Ибо, в сущности, «угнетенным» и «оскорбленным» должно считаться религиозное и нравственное чувство в среде русской интеллигенции. Молодому человеку нужна большая доля мужества и самостоятельности, чтобы дерзать питать и исповедовать его в себе»²⁵⁸.

«Я поехал поклониться его праху, – пишет Кони. – На полутемной неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направляющихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя комната с тою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых... Оно говорило, это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным... Гление еще не успело коснуться, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так, – я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я знаю»²⁵⁹.

И Анна Григорьевна вспоминает: «К часу ночи дорогой наш усопший уже возлежал на погребальном возвышении посредине своего кабинета. Пред изголовьем стояла этажерка с образом и горящей лампадой. Лицо усопшего было спокойно, и казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь «великой правде»²⁶⁰.

Существует еще один документ, вполне подтверждающий слова и Анны Григорьевны, и Кони, – замечательный карандашный рисунок «Ф.М. Достоевский на смертном одре», сделанный Крамским на следующий день после смерти. На лице усопшего – «покой субботнего дня». Литератор Достоевский увидел своего Христа и Его Пасху.

1963. Страстная неделя

²⁵⁸ Письмо И.С. Аксакова К.П. Победоносцеву, февраль 1881 г. //Чешихин-Ветринский В. Е. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. С. 163.

²⁵⁹ Кони А. Ф. На жизненном пути: В 5 т. Т. 5. Л., 1929. С. 37.

²⁶⁰ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 402.